



ГЕРРОН

ПРЕЖДЕ ВСЕГО РОМАН ЛЕВИНСКИ —
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. АВТОР ТАК
РАССКАЗАЛ НАМ О СВОЕМ
ПЕРСОНАЖЕ, СЛОВНО
КУРТ ГЕРРОН — ОН САМ...

DIE WELT

ШАРЛЬ ЛЕВИНСКИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР. ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Шарль Левински Геррон

*Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6447524
Шарль Левински. Геррон: Эксмо; Москва; 2013
ISBN 978-5-699-68358-1*

Аннотация

Когда-то Курт Геррон был звездой, а теперь он – заключенный в концлагере. Известного артиста прямо из съемочного павильона отправили в гетто Терезиенштадта, где он должен в последний раз продемонстрировать свой талант – снять фильм, который изобразил бы земным раем унижительное существование евреев в гитлеровской Германии.

Курту Геррону предстоит нелегкий выбор – если он пойдет против совести, то, возможно, спасет и себя, и свою жену Ольгу, которую любит больше жизни.

В этом блестящем, трогательном романе Шарль Левински рассказывает трагическую историю своего героя, постоянно балансирующего между успехом и отчаянием, поклонением и преследованием.

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

71

Шарль Левински

Геррон

*Лучшей читательнице, о какой только может мечтать автор:
моей дочери Тамар.*

Он был любезен со мной, и это меня пугало. Он не кричал на меня, что было бы нормально, а был вежлив. Тон такой, словно он обращался ко мне на «вы».

Он не говорил мне «вы», такое не пришло бы ему в голову, но он знал мою фамилию. «Ты, Геррон», говорил он мне, а не «Ты, еврей».

Опасно, когда такой человек, как Рам, знает твою фамилию.

– Ты, Геррон, – сказал он, – у меня есть для тебя поручение. Снимешь для меня фильм. Фильм.

Он хочет что-то приватное, решил я поначалу, фильм про самого себя. Любящий отец Карл Рам с тремя своими детьми. Господин оберштурмфюрер, переодетый человеком. Что-то в этом роде. Что он мог бы послать своему семейству в Клостернойбург.

Да, нам известно, сколько у него детей. Нам известно, откуда он. Мы знаем про него все. Так бедные грешники знают все про Бога. Или про черта.

Студия УФА, это мне рассказывал Отто, каждый год снимает фильм во славу Йозефа Геббельса. Всегда к его дню рождения. Они направляют к нему одну из своих звезд – например, Рюмана, который затевает что-нибудь милое с Геббельсовыми детьми, – и тем самым подлизываются к господину министру пропаганды.

Что-то такое, по моим представлениям, хочет теперь и Рам. Никаких проблем. В моем положении.

Но Рам мыслит масштабнее. Господин оберштурмфюрер задумал другое.

– Слушай, Геррон, – сказал он. – Однажды я видел какой-то твой фильм. Не помню, как назывался, но он мне понравился. Ты кое-что можешь. Этим и хорош Терезин: здесь полно людей, которые что-то могут. Ведь у вас тут театр и все такое. А теперь я хочу, чтобы был фильм.

И он изложил мне, какой это должен быть фильм.

Я испугался. Вероятно, по мне это было заметно, но он никак не отреагировал. Потому что ожидал моего испуга. Или потому, что ему было безразлично. По таким лицам я не умею читать.

– Мы уже делали одну такую попытку, – сказал он, – но из нее ничего не вышло. Я был очень недоволен. Людей, которые мне все испортили, здесь уже нет.

Следующий поезд всегда отправляется по направлению к Освенциму.

– Теперь твоя очередь, – сказал Рам. По-прежнему приветливо. Голос его все еще дружелюбен. – Если нам повезет, на сей раз что-нибудь получится. Так, Геррон?

– Мне надо подумать, – сказал я. Сказал кому – Раму! Эпштейн, который тоже был приглашен как еврейский староста, проглотил испуганный стон. Еврею не положено преко-словить. Тем более, когда чего-то требует комендант лагеря. Эсэсовец, который привел меня, уже приготовился бить. Я не видел его руку, только ощутил движение. Из стойки «смирно» не повернешься. Тем более в кабинете коменданта лагеря. Удар должен был последовать вот-вот, но Рам дал отмашку.

– Он артист, – сказал Рам, все еще сохраняя дружелюбное лицо дядюшки Рама. – Ему необходимо вдохновение. Все в порядке, Геррон, – сказал он. – Даю тебе три дня. На размышление. Чтобы фильм удался. Чтобы мне не пришлось еще раз быть недовольным. Три дня, Геррон.

Свою порцию побоев я потом все же получил. За дверью кабинета Рама. Эсэсовец ударил меня по морде, как они это обычно и делают. Но не со всей силы. Я еще понадоблюсь.

Если бы знал, чем все кончится, разве стал бы начинать? Разве не обернул бы себе шею пуповиной, чтобы удавиться еще до того, как появиться на свет? Разве не нашел бы средство, чтобы вообще не выходить на старт, если гонка заранее проиграна?

Мне рассказывали про одного ребенка, который – еще до меня – родился в поезде из Амстердама в Вестерборк и для которого Геммекер вызвал из города лучших детских врачей. Грудничковую медсестру, которая собственноручно меняла пеленки настоящей кронпринцессе. Правда, мать в день своего прибытия отправилась дальше на восток. Своими строптивыми родами она спутала цифры в сопроводительных документах, и для выравнивания баланса ею можно было пополнить другой список.

В Вестерборке другие заморочки, не так же, как здесь, в Терезине. Но и безумие имеет свои правила. Чтобы тебя отправили в Освенцим как полноценную человеческую единицу, тебе должно быть не меньше полугода.

Этот ребенок из поезда: неужели он захотел бы родиться, если бы знал, что его беззаботное младенчество продлится ровно шесть месяцев? Плюс три дня на дорогу в поезде?

Конечно же нет.

Есть легенда, которую мне рассказал мой дед Эмиль Ризе, окуривая каждую фразу отдельным облаком сигарного фимиама. Я любил фантастические истории моего деда настолько же, насколько мой отец, приверженец рационализма, их ненавидел.

Легенда была такая: когда сотворится человек – он не объяснял мне, как это происходит, а я еще не достиг того возраста, когда об этом спрашивают, – когда человек начинает быть человеком, он уже знает все, что ему надо знать, все, что написано в умных книгах, а также вещи, которые еще никто не открыл. Он знает события прошлого, и он знает все, что еще предстоит снаружи, в мире и внутри, в собственной жизни. Однако незадолго до того, как ему родиться – то, как это происходит в деталях, также оставалось тогда для меня загадкой, – является ангел и указательным пальцем тюкает его по лбу. Бум! И новый человек забывает все, что он, собственно, уже знал. И когда он потом рождается на свет, говорил мой дед, он помнит только одно: как сверху в себя что-то всосать, а снизу из себя что-то выписать. Я смеялся, а он заполнял паузу тем, что пыхал своей сигарой. Эффектная техника рассказа, которая позволяет рассказчику наилучшим образом разместить остро́ту. Впоследствии я сам применял ее на сцене.

Только евреи, продолжал дедушка, достаточно хитры и отворачивают голову, когда является ангел. Тогда его палец попадает не в лоб, а прямо в кончик носа. Поэтому они забывают не все, что они уже знали, а лишь большую часть. Поэтому, сказал мой дед, мы, евреи, умнее других людей, и поэтому у нас крючковатые носы. Объяснение, до которого еженедельник «Штюмер» не додумался.

Папы тогда не было рядом. Он бы прервал эту историю до ее окончания и сказал: «Не рассказывай мальчику такие вещи! И вообще, вечно ты дымишь, ребенку это не на пользу».

В старомодной квартире на торговой улице всегда было полно дыма. «Мне можно, – говорил дедушка. – Вдовцу можно все».

Если бы мой собственный ангел промахнулся своим щелчком, и если бы я знал свою жизнь с самого начала, со всеми ее скверными эпизодами и ее еще более скверным финалом, как знаешь театральную пьесу, прочитав текст до конца, – я бы все равно захотел сыграть свою роль. Потому что текст – это еще не постановка. Свое знание я бы рассматривал как первый эскиз, как нечто, подлежащее во время репетиций обсуждению и изменению. А что касается действительно неприятных пассажей – вычеркивай до следующей сцены.

Нет, я бы не стал цепляться за материнскую утробу. Меня не пришлось бы вытаскивать на белый свет силком. Я бы захотел порепетировать. Движимый неразумной верой в собственные творческие возможности.

В те годы, когда я был знаменит, мне то и дело приходилось отвечать на какие-нибудь анкеты – для газеты или для иллюстрированного журнала. В каждой второй такой анкете был вопрос: «Что было Вашей самой большой ошибкой?» Я тогда писал то, что пишут обычно: «Нетерпение» или «Не могу устоять против сладостей». А надо было написать вот что: «Моя самая большая ошибка? Я уверен, что мир – это постановка».

Ольга бросилась мне на шею. Как мама тогда, когда я пришел в отпуск с фронта. Не всякий, кого увели к Раму, возвращается назад.

– Слава богу, – сказала она. Ольга не из тех людей, что будут молиться, мы оба не из тех, но на сей раз это было больше, чем пустой оборот речи. – Я припасла для тебя кусок хлеба, – сказала она.

Я пытался есть его очень медленно, но потом все же проглотил.

Ольга ни о чем меня не спрашивала. Села ко мне на колени и положила голову мне на грудь. Ее волосы всегда пахли как свежeweымытые. Не знаю, как она это делает – здесь, в гетто.

Я искал подходящие слова – и не находил. Нет подходящих слов. Я рассказал ей, чего от меня требуют, и она тоже испугалась. Не из-за фильма, а потому, что я осмелился перечить Раму.

– Ты сошел с ума, – сказала она.

Может, и так. Иногда я делаю вещи, для которых требуется мужество. А ведь я совсем не мужественный человек. Я только все еще считаю – при том, что мне давно уже следовало зарубить на носу, что это не так, – я все еще считаю, что на события можно повлиять.

Даже если дело касается Рама.

– У меня есть три дня, – сказал я, – но я уже сейчас знаю, какой ответ должен дать.

– Мы оба это знаем, – сказала Ольга. – «Да, господин оберштурмфюрер» – вот каков твой ответ. – «Разумеется, господин оберштурмфюрер. Так точно, господин оберштурмфюрер».

– Я не смогу делать этот фильм.

– Человек может все. Ты же вот и в Эллекоме выступал.

Это было нечестно – напоминать об этом. То был самый страшный день моей жизни.

Один из самых страшных.

Потом мы долго молчали. С Ольгой хорошо молчать.

Через открытое окно потянуло вонью. Или она была всегда, только я ее не замечал. Привыкаешь ко всему.

Можно сделать все.

– Но не этот фильм, – сказал я Ольге. – Мне придется стыдиться этого всю оставшуюся жизнь.

– А долго ли продлится твоя жизнь, если откажешься?

Она не ходит вокруг да около.

– Ты же первая и будешь меня презирать.

– Есть вещи похуже презрения.

Вещи похуже есть всегда. Азбучная истина нашего века. Мировая война? Маленькая разминка для пальцев. Государство, которое распадается на части? Всего лишь смена декораций для поистине великих сцен. Наци и все их законы? Тоже лишь для разогрева мышц. Кульминация еще грядет. В самом конце. Как в кино. Жди сюрприза.

– Сколько времени нужно, чтобы сделать фильм? – спросила Ольга. – Целиком и полностью?

– Три месяца. Минимум. Съёмочные работы – это самое меньшее. Перед этим еще нужно написать сценарий, а после съемки – монтаж...

– Через три месяца, – сказала она, – может, и война кончится.

– Я не тот человек, который может пойти на такое, – сказал я.

– У тебя есть три дня, – Ольга встала. – Используй их, чтобы выяснить, какой же ты человек на самом деле.

И она оставила меня одного.

Я родился 11 мая 1897 года в Берлине. В той самой квартире, где затем провел юность: Клопштокштрассе, 19, через пару домов от вокзала Тиргартен. В кухне, в самом дальнем углу, были слышны вибрации и свистки поездов городской железной дороги. При сильном западном ветре – а это всегда приводило к большому переполюху – приходилось закрывать окна из-за дыма локомотивов. Иначе вся еда могла провонять железной дорогой.

Могу предположить, что эту квартиру выбрал мой дед. Ему хотелось, чтобы его дочь и замужней женщиной оставалась при нем. Мою мать звали Тони, то есть Антония.

Ее родители, Ризе, хотели, чтобы следующее поколение сделало окончательный рывок от просто приличной бургерской жизни к крупнобуржуазной. Поэтому у нас в квартире стоял рояль. Попытки дать мне соответствующее образование родители вскоре оставили. Хотя у меня и был хороший слух, зато обе руки – левые. К счастью, им не пришло в голову отправить меня вместо этого к учителю пения. С каноническим образованием я бы никогда не сделал карьеры.

Мама всю свою жизнь так и оставалась ученицей женского лицея. После школы ее на год отправляли в пансион, не в Швейцарию, конечно, этого они не могли себе позволить, но все же в Бад-Дюркхайм, в край виноградников. Оттуда она привезла готовый репертуар ужимок и поз. Этакая актриса-высочка, выучившаяся у провинциальных героев. Когда ей случалось смеяться, она прикрывала рот рукой и с наигранной стыдливостью отворачивала голову; если кому-то аплодировала, она делала это лишь кончиками пальцев. Ей внушили, что хлопать во все ладони не изящно.

Но самым важным правилом, которое ей преподали на всю жизнь, было «Мужчины не любят умных женщин». И мама скрывала свой ум. Как прыщ на лбу, завешивая его искусно завитым локоном. Притворялась наивной. Не подавала виду, что не принимает всерьез папины принципы, которые тот возвещал во весь голос. Оба считали свой брак счастливым.

Папа, выросший в ноймаркском Мюлендорфе под названием Кришт, в шестнадцать лет приехал в Берлин. Совершил Исход, который он всегда изображал так драматически, будто ему пришлось вплавь пересекать море, кишасщее акулами, и преодолевать горы, покрытые глубоким снегом. Он нашел место на швейной фабрике моего деда, Ляйпцигерштрассе, 72, позднее женившись на его единственной дочери.

Из предприятия «Эмиль Ризе, пошив новинок дамского и детского гадероба, обслуживание, блузки, нижние юбки, носовые платки и передники» – объявление об открытии фирмы висело у нас в холле в рамочке, и я выучил его наизусть, как запоминал все написанное, – вскоре получилась фирма «Ризе & Герсон», а со временем, когда дед состарился, фирма стала называться «Макс Герсон & Со». При том что *компания* на самом деле не существовало. Но она придавала фирменной табличке импозантный характер.

Фирма. В нашем доме это было магическое понятие. Если папа слишком строго наказывал меня за какой-нибудь детский проступок и я, всхлипывая, жаловался маме, ей достаточно было лишь сказать: «У него сейчас неприятности в фирме» – и я был не то чтобы утешен, но порядок в мире восстанавливался. Случалось – и это тоже было таинственным образом связано с фирмой, – папа приносил домой среди недели кусок торта в виде башни.

Его полагалось – со взбитыми сливками! – съесть немедленно. Мама могла сколько угодно протестовать против того, что мальчик перебивает аппетит. Против фирмы она была бессильна.

Самое лучшее было, когда мне разрешалось сопровождать папу в контору на Ляйпцигерштрассе. Собственно портняжные работы поручались промежуточному мастеру, а тот передавал задание надомницам, и эта безликая армия работниц все выполняла где-то в северной части Берлина, но этажом выше был склад тканей и готовых товаров. Лабиринт из стеллажей, в котором было здорово играть в прятки.

Возможно, предприятие работает и по сей день. Так легко забываешь, что жизнь продолжается. Только, если фирма еще существует, она совершенно точно называется уже не «Макс Герсон & С^о».

Я сижу верхом на лошадке-качалке. Я маленький и до пола достаю, только если вытяну ноги. Я качаюсь и качаюсь. Лошадка всякий раз сдвигается чуточку вперед – до тех пор, пока не упирается в стену. Я больше не могу качнуться вперед и сижу, уставившись на препятствие. На обоях маршируют гномы, выстроившись в шеренги. Вместо ружей у них на плечо закинута цветы. Я их боюсь и начинаю плакать.

Это мое самое раннее детское воспоминание.

В какой-то момент приходит мама – но это уже не воспоминание, это мне рассказывали – и хочет развернуть меня вместе с моей деревянной лошадкой. Чтобы я снова мог скакать верхом через всю детскую комнату. Я реву еще громче и отбиваюсь. Мою лошадку нельзя поворачивать, никому нельзя. Ее можно только оттащить назад, до противоположной стены. Тогда я снова буду качаться – в ту же сторону, что и раньше. Пока опять не упрусь в стену. И снова не начну плакать.

– Ты делал это по двадцать раз на дню. – Если эту историю рассказывала мама, она всякий раз стучала мне по лбу указательным пальцем и прибавляла: – У тебя всегда была упрямая голова.

Когда мы покидали Берлин, лошадка-качалка осталась на чердаке дома на Клопштокштрассе. Возможно, она и сейчас там стоит. Квартиру захватил заслуженный партайгеноссе, а детей у него нет. Наш портъе Хайтцендорфф. Он так высоко ценил двойное «ф» на конце своей фамилии, что все звали его Эфэф. Его жена иногда помогала маме наводить чистоту, и легко представить, что теперь она вытирает пыль с той же самой мебели с куда большей тщательностью, ведь теперь она своя. А вот папины костюмы, которые остались висеть в шкафу, толстому Эфэфу будут тесноваты.

Лошадка-качалка была старая и выглядела так, будто никогда не была новой. Белая краска выцвела в желтизну.

– Именно этим ты можешь гордиться, – утешал меня папа. – Это особенно благородная масть: изабельно-сивая.

И как мне было не гордиться, если папа, как я был тогда убежден, знает все и никогда не ошибается.

Уже не помню, почему несколько лет спустя – должно быть, я уже учился в младших классах гимназии – мы снова вернулись к этой теме. Наверное, мама опять принялась рассказывать старую историю о лошадке-качалке.

– Я тебя не обманул, – сказал папа. – Она действительно была изабельно-сивая.

И достал из застекленного шкафа энциклопедический словарь Майера. Во многих томах которого, в этом папа был убежден твердо, как скала, можно было найти ответ на что угодно. Если только правильно поставить вопрос. В свободные вечера он закапывался в эти тома и читал их, как другие читают роман. Теперь он раскрыл словарь на странице со статьей об испанской королеве Изабелле и дал мне зачитать вслух. Папа был всего лишь директор

обыкновенного швейного производства, но любил поиграть в наставника. Королева, читал я вслух, поклялась не менять рубашку до тех пор, пока ее супруг не одолеет какой-то вражеский город, не помню уже какой, и когда стены наконец пали, ее рубашка уже была не белой, а желтоватой.

«Неправда!» – написал бы я сегодня на полях энциклопедии красными чернилами. Белые рубашки, если носить их слишком долго, становятся не желтыми, а серыми. Уж в этом-то я знаю толк.

То, что я всегда хотел скакать только в одну сторону, мама считала признаком врожденного упрямства. Но это было не упрямством. Я скрывал постыдную тайну. У моей изабельно-сивой лошадки был всего один глаз. Когда-то на ее морде справа и слева были приклеены две половинки стеклянного шарика, какими мы, мальчишки, любили играть. Но левый кабшон моя лошадка потеряла. Это и было причиной, почему я – в возрасте трех-четырёх лет, – крича и отбиваясь, боролся за то, чтобы лошадка галопировала всегда в одном и том же направлении. От наблюдателя, и именно это мне было важно, слепая сторона была скрыта. Иначе кто-нибудь мог бы заметить, что лошадка вовсе не настоящая.

Мальчишкой я был долговязым и тощим.

– Так быстро растет только бурьян, – говорил папа.

Есть – нет, был – снимок, сделанный к моему тринадцатому дню рождения: я стою в ателье фотографа на фоне искусно задрапированной портьеры. Помню лишь, что она была темно-зеленого цвета. На мне костюм, самый первый. Вероятно, новые длинные брюки подлежали запечатлению для вечности не меньше, чем я сам.

Справа внизу на паспарту, в который был вставлен снимок, тисненными золотыми буквами было написано: «Портретное ателье Альфонса Тидеке, Фридрихштрассе, 78». Но фотографировал меня не сам господин Тидеке, а кто-то другой. Молодой мужчина в белом халате художника проворно вертелся вокруг меня. Заставлял принимать разные позы и ни одной из них не был доволен. В конце концов он подтащил стул – из тех, что в театре берут из реквизита, когда нужно меблировать рыцарский замок. На его подлокотник мне следовало опереться, и это выглядело бы как элегантная непринужденность. Но уже тогда, в тринадцать лет, я вымахал так, что моя рука – если стоять ровно – не доставала до подлокотника. Так я и стою на снимке с перекошенными плечами. Наклонившись в сторону, как будто у меня что-то выпало из рук и я пытаюсь незаметно нащупать выпавший предмет. Портрет несколько лет стоял на мамином туалетном столике, вставленный в рамку.

Позднее она взяла его с собой в Голландию. Он был уложен в ее чемодан и тогда, когда ее депортировали дальше.

С того дня я захотел стать фотографом. Ассистент господина Тидеке произвел на меня впечатление не только своей одеждой – декоративный платок, небрежно сложенный и выглядывавший из нагрудного кармана его художественной блузы, был, как заметил тоном знатока папа, из настоящего японского шелка, – а главным образом тем, что он мог мною вертеть, словно куклой на шарнирах. Тогда я впервые ощутил на себе нечто вроде режиссерской работы.

Я сам выстроил себе камеру. Кухонный стул, на спинке которого была закреплена разрисованная коробка из-под обуви. Старое гладильное покрывало, под которое я заползал, чтобы снимать. Я был придворный фотограф Герсон, а мой одноклассник и лучший друг Калле был Его Величеством Кайзером, который позволял мне фотографировать себя. Калле участвовал во всех играх, которые я придумывал. До тех пор, пока мог исполнять в них роль какой-нибудь благородной персоны. Однажды, когда мы, нарушая запрет, баловались спичками, он был императором Нероном и чудовищно пел, в то время как я сжигал Рим.

Мы предпочитали игры, в которых главным было что-то выдумать, и избегали более спортивных игр вроде казаков-разбойников. Бегать мне мешали слишком быстро выросшие конечности. Я спотыкался о себя самого. У Калле были слабые легкие, и он был освобожден от гимнастических занятий. Возможно, он бы так и умер от туберкулеза. Если бы успел до этого дожить.

В школе мы бы с удовольствием сидели за одной партой. Но рассадка по партам велась в строгом соответствии с успеваемостью. Крайнее правое место в первом ряду было зарезервировано для первого ученика, которым в нашем классе был один славный парнишка, совсем не честолюбивый. Мое место было где-то посередине, а Калле сидел на самой задней парте. Под угрозой был не только его перевод из второго класса гимназии в третий, такие проблемы возникали каждый год. То, что в последний момент его все-таки переводили, было продиктовано скорее жалостью, чем его школьной успеваемостью.

Фотографирование вскоре потеряло свою прелесть. Мне в голову приходило слишком мало поз, в какие я еще мог бы поставить мою модель. Кайзер Калле вручил мне последний орден, после этого мы перестроили нашу камеру в телескоп и открыли, воодушевившись кометой Галлея, множество новых небесных тел.

Оглядываясь назад, не могу поверить, что мы тогда были так ребячливы. 1910 год – всего за четыре года до того, как все мы в одну прекрасную ночь были объявлены взрослыми и отправлены на войну. На фотографии в новом костюме я еще ни о чем таком – о том, что меня ждет, – не догадываюсь. Стою себе, долговязый, тощий. Никто не мог предположить, что уже совсем скоро я стану очень толстым.

Калле.

Он не казался мне больным. Благодаря маме, которая постоянно мучилась сверхчувствительным желудком, я знал, как выглядит человек, когда он нездоров: лежит в постели и говорит совсем тихим голосом. Калле же, напротив, смеялся громче всех, кого я знал. Даже громче, чем пьяный Эмиль Яннингс. Я услышал его смех сразу же при нашей первой встрече, когда мы оба – новоиспеченные первоклассники – робко ступили во двор гимназии. Папа купил мне – поскольку голова у меня еще вырастет – зелено-белую школьную фуражку на размер больше. Поскольку меня только что подстригли по-военному коротко, фуражка сползала мне на уши. Калле увидел меня, остолбенел и чуть не умер со смеху. Причем в его случае это был не просто оборот речи, а именно так все и выглядело. Поскольку он хватал ртом воздух и давился. При его приступах веселья всегда казалось, что его вот-вот вырвет.

Тем, что так его позабавило при нашем знакомстве, когда он чуть не задохнулся от смеха, был не мой дурацкий вид, а то, что сам он выглядел ничуть не лучше. Его отец – из подбных же дальновидных соображений – тоже купил ему фуражку на размер больше. И ему точно так же – по принятому тогда ритуалу педагогической инициализации – коротко остригли волосы. Поскольку я, вымахавший бурьян, был на голову выше его, мы, должно быть, составляли смешную пару.

С того дня мы стали друзьями.

Вообще-то его звали Карл-Хайнц. Когда на первом уроке мы должны были называть наши имена для классного журнала, для него оказалось страшно важно, чтобы его имя не было написано в одно слово. И наш классный руководитель потом целый год звал его Дефис.

В Амстердаме я как-то раз стал свидетелем, как дефис спас человеку жизнь. По крайней мере, на какое-то время. Он оказался в списке без дефиса, и поскольку ему удалось доказать, что бюрократически это неправильно, вместо него депортировали кого-то другого.

Мне никогда не приходило в голову, что болезнь Калле может быть чем-то серьезным. Ну да, он кашлял, и от гимнастики был освобожден – из-за чего я ему завидовал, – но мы

познакомились в том возрасте, когда вещи видятся человеку такими, какие они есть, данными от природы и неизменными. Калле был Калле, а Курт был Курт.

Его отец был приватным ученым. Я представлял себе что-то типа доктора Фауста, который ночи напролет проводит в лаборатории. Когда я с ним потом познакомился, это оказался дружелюбный рассеянный человек, который и в полдень все еще разгуливает по дому в шлафроке и не допускает, чтобы при чтении ему мешали. Я так никогда и не узнал, какими науками он занимался. Должно быть, что-то связанное с музыкой. Однажды он рассказывал что-то о тайных посланиях, зашифрованных в партитурах Иоганна Себастьяна Баха. Он вполне мог быть и безобидным мечтателем, который мог позволить себе всю жизнь скакать на своем любимом коньке.

Будучи полной противоположностью моему отцу, слишком усердствовавшему в воспитании, он требовал от своего сына лишь одного: чтоб тот ему по возможности не мешал. Если мы хотели завоевать Трою в комнате Калле – я в качестве Ахилла, Калле в качестве царя Менелая, – то, предварительно запасшись на кухне военным довольствием, могли быть уверены, что несколько часов нас никто не потревожит.

Калле был самый жизнерадостный человек, какого я видел в жизни. У него был такой заразительный смех, что как-то раз он обезоружил им даже толстого Эффа, который относился к своему долгу охраны дома по-военному серьезно. Мы что-то учинили, уже не помню что, Хайтцендорфф нас застучал и грозил серьезными карами. На что Калле начал хихикать. В любом другом случае Эфф воспринял бы это как оскорбление достоинства, что лишь усугубило бы наказание, но тут его службистские усики начали подрагивать, и случилось неслыханное: Хайтцендорфф Строжайший засмеялся, а мы, негодники, улизнули ненаказанными.

Таков был Калле.

А уж как он смеялся на нашем выпускном вечере! Счел слишком комичным то, что он, которого переводили из класса в класс исключительно из жалости, и впрямь выдержал экзамены. Никак не мог остановиться. Весь актовый зал, украшенный черно-бело-красным, смеялся вместе с ним. Директору старших классов пришлось прервать патриотическое обращение и укоризненно сказать: «Смотри, как бы не пришлось умереть от смеха».

Единственное его пророчество, которое сбылось.

Если б знать, если б точно знать, что фильм никогда не будет снят до конца или что он будет снят, но его никто никогда не увидит, потому что война кончится... Ходит слух, американцы высадились во Франции, а русские уже взяли Витебск. Я ликовал вместе с другими, ликовал очень тихо и с оглядкой, когда мне это рассказали, и только потом сообразил: я даже не знаю, где этот Витебск.

Если бы знать наверняка, что последний акт уже начался, а он – по старому театральному правилу – всегда самый короткий, если уже видишь у занавеса рабочего сцены – как он стоит наготове, держа руки на веревке, и только ждет знака от помощника режиссера, если бы был такой провидец, который мог бы мне это гарантировать, тогда и вопроса бы не было, тогда бы и трех дней не понадобилось, чтобы решиться, я бы сразу пошел к Раму – как будто кто-то может явиться к нему непрошеным! – и сказал бы ему: «Да с удовольствием, господин оберштурмфюрер, – сказал бы я, – для меня большая честь, – сказал бы я, – каким бы вы хотели видеть ваш фильм?»

Если бы только знать.

Мы все пробовались на роль провидцев, все эти годы, и хоть бы кто-то что-то смог предсказать. «Долго они не продержатся», – пророчили мы, а когда они все-таки продержались: «Теперь они станут мягче, ведь власть уже у них». Мягче они не стали, наоборот, и мы предвещали: «Другие страны не допустят, чтобы они развязали войну». И опять обманулись.

Хорошее выражение – *обмануться*. Обманываешь себя сам и только потом сваливаешь вину на других. Ничего мы не смогли предвидеть, ни блицкриг, ни желтую звезду, ни вагоны для скота, в которые помещается гораздо больше людей, чем написано на вагоне. Ничего.

Если предсказатели опять обманываются, если война будет длиться вечно, если они ее даже выиграют, если чудо-оружие и правда существует и ни у кого нет против него средства, если фильм будет снят, смонтирован и показан в тех же самых кинотеатрах, где шли мои старые, ныне запрещенные фильмы, если они устроят гала-премьеру в «Глория-Паласе» – ковер перед входом и шампанское в фойе, – тогда язвительный смех докатится и сюда, до Терезина. Когда на экране появятся титры: «Режиссер – Курт Геррон».

Теперь больше не говорят *режиссер*. Теперь говорят *постановщик*.

«Ничего себе, докатился! – будут говорить в «Глория-Паласе». – Не кто иной, как Геррон, снял этот фильм». Будут хлопать себя по ляжкам и притопывать сапогами. Они ведь теперь все носят сапоги.

Раскладка такая:

Рам хочет, чтобы я снял фильм о Терезине. Не о том Терезине, в который я заточен. А о том Терезине, какой он хочет предъявить миру. Каким они продемонстрировали его Красному Кресту. Счастливый фильм о счастливом городе. Где люди ходят в кофейню. Занимаются спортом. Наслаждаются красивым ландшафтом. Где по утрам они с радостью шагают на работу – «Тили-бом, тили-бом, мы весело и радостно живем», – а вечерами наслаждаются заслуженным отдыхом.

Город, по улицам которого не везут каждый день тележки с трупами стариков, сдохших от голода.

К этому фильму я должен написать сценарий. В этом фильме я должен вести режиссуру.

Тили-бом, тили-бом.

Рам не обещал мне никакой ответной награды. Но фильм не снимают в поезде на Освенцим. Пока я над ним работаю, я в безопасности.

Это одна сторона.

Другая: не тронь дерьма – не воняет.

Они угнали моих родителей в Собибор. А я должен помочь им наврать всему миру, что они вообще-то исключительно добры к нам? «Улыбчивое лицо Терезина». Собственные слова Рама. Улыбчивое лицо голода, болезни и смерти.

Режиссер – Курт Геррон.

Кем бы я был, если бы сделал это?

Человеком, которого не угонят в Освенцим.

Человеком, который заслуживает того, чтобы его угнали в Освенцим.

Уметь бы молиться. Был бы Господь Бог, которого можно спросить.

Только нет Бога. Тем более Господа.

В детстве я представлял себе Бога похожим на нашего директора старших классов. С такой же бородой, покрывающей пол-лица. Актеры бродячих трупп любят наклеивать себе такие бороды размером с лопату. В надежде казаться более импозантными. Бог, которому тут молятся, такой же шумный лицедей. Настолько гордый своей ролью, что не замечает, в какую кучу дерьма он вляпался. Аплодисменты вкупе с букетами цветов и лавровыми венками он сам вписал в сценарий изначально. *Слава тебе, слава тебе, аллилуйя, аллилуйя, осанна.*

Глубочайшая провинция.

Еще и гордится тем, что сам написал пьесу. Всемогущий, всеблагодный, всеведущий. Директор театра, который пишет на своих афишах столь превосходные степени, близок к банкротству. Он вынужден еще и гоняться за людьми, чтобы те милостиво взяли у него пару

бесплатных билетов. *Сенсация сезона! Оглушительный успех во всех столицах! Это необходимо увидеть!*

Нет никакой необходимости это видеть. Потому что в мировом театре вообще нет зрительного зала. Все места – на сцене. Вынужден подыгрывать и за это еще и спасибо говорить. Если твоя роль тебя тяготит, это означает только: сам виноват. Тебе следовало бы сделать из этого кое-что получше.

Обычная отговорка, когда спектакль не выходит. Брехт тоже говорил мне это по поводу «Хеппи-энд».

Но организовано все очень ловко. Люди из театральной ассоциации носят брыжи и мантии и всегда на стороне дирекции. Нормальный договор всегда составлен на латыни или по-еврейски, и подписываешь его еще до того, как научился читать. При этом господин с бородой не понимает простейших законов театра. Спектакль не становится лучше только за счет того, что на сцене лежит груда трупов. Эффекты следует использовать весьма экономно, иначе внимание публики притупляется и она впадает в апатию. Бассерман – вот кого следовало бы назначить на роль Господа Бога. Он сделал бы из этой роли нечто. Четыре акта подряд он играл бы на ручном тормозе, а потом в пятом слегка бы повысил голос. Вот так заслуживают Перстень Иффланда.

А этот что – с первой же сцены только крики. Громы, молнии и горящая купина. Один тухлый эффект за другим. Еще одна война, еще одна чума, еще один погром. И за это он хочет обожания. Не удивительно, что он прячется за бородой. Обряжается во всякий экзотический костюм, какой только подвернется в реквизите. Иеговы, Аллаха, Будды.

Ничего не помогает. Провинция есть провинция.

Но среди людей, которые каждый день страстно произносят древние молитвы, должно найтись несколько человек, которые действительно в него верят. Которые остаются убеждены в более глубоком смысле пьесы. Даже если им давно должно быть ясно, что их роль состоит лишь в том, чтобы пунктуально умереть по сигналу. Которые все еще кричат «Браво!», когда петля уже затягивается на их шее. Они твердо рассчитывают на гонорар, который предполагали выиграть сценой своей смерти.

В Вестерборке и здесь, в Терезине, я перезнакомился с массой людей этого сорта. Странно: большинство из них неглупые люди. Даже наоборот.

Глупость я бы мог понять. На плохом спектакле остаешься сидеть до конца, потому что лишь однажды купил билет или получил его в подарок, и даже в последнем акте еще надеешься, что представление выправится, – это я мог бы понять.

Но когда говорят: «Пьеса плохая и становится все хуже, но, несмотря на это, я за нее благодарен», – это не укладывается у меня в голове. Как можно оставаться зрителем, если давно уже не согласен с репертуаром. Естественно, свист и возгласы возмущения не делают спектакль лучше. Но это дает невероятное облегчение.

До наших людей это не доходит. Они готовы аплодировать этим артистам из погорелого театра до одурения. И невозможно их вразумить.

Они под воздействием наркотика. Им удается быть пьяными там, где я остаюсь трезвым. Больны этой завидной болезнью, к которой я невосприимчив.

Я слишком юным получил прививку от религии.

– Пока мне не покажут этого Господа Бога под микроскопом, я в него не поверю, – сказал папа.

Для него всякий вид ритуала попадал под рубрику «Обычаи и нравы дикарей».

– В двадцатом веке уже не пляшут племенных танцев, – говорил он. – Когда мы однажды избавимся от религий, исчезнет и антисемитизм.

Нет, все-таки всеведущим он не был, мой отец.

Иудеи – из всех верующих – нравились ему меньше всего. Этой позиции не отменял и тот факт, что сам он был одним из них. Он называл их «жидки». Я долгое время не замечал, что такого слова вообще нет. Я думал, это словечко из местного диалекта, которое папа прихватил из своей родной деревни. Или оно могло быть из лексикона старшего поколения, или происходило откуда-то с востока.

Творожья башка тоже было таким словом. Оно применялось всякий раз, когда я опять оказывался растяпой, то есть часто. Или *драник*, что означало приблизительно *ты мой маленький*. А все, что бросалось в глаза или было удивительным, папа называл *амбарчик*.

Почему бы не быть и *жидкам*?

– Я не выношу этих жидков, – говаривал он.

Мама и при сотом повторении оказывала ему любезность и водружала себе на лицо шокированное выражение. Она играла *шокированность* в такой же манере, какую я потом видел у Магды Шнайдер. Только без задорно сморщенного носа, как у той. Его провокация и ее наигранное возмущение были частью их хорошо слаженного брака. Он видел себя таким бунтарем против всякого рода условностей и традиции, а она предоставляла ему такую возможность. В конце концов, предаваться этой склонности он мог лишь в кругу семьи. Все остальное вредило бы фирме. Его клиенты – как оптовики, так и владельцы маленьких магазинов одежды – были по большей части жидки.

Если такое бывает, то папа был ортодоксальный атеист. Иудейские традиции у нас строго отслеживались – чтобы из принципа не соблюдать их. Так, раз в году, на Йом Кипур, мы посещали новую синагогу на Ораниенбургер-штрассе. Не из набожности, избави бог. А потому, что он считал, что клиентура ждет этого от него.

Это всегда был очень приятный день. Меня освобождали от школы, и в синагоге я наслаждался органной музыкой. В то время как папа беседовал со своими соседями о коммерческих перспективах и обсуждал поставщиков. Дома нас ожидал после этого особо обильный обед. Так папа демонстрировал себе самому, что иудейский день поста для него имеет не больше значения, чем, например, 27 января. Когда в день рождения кайзера из окна вывешивался еще и флаг – при том, что он вовсе не был рьяным поклонником Гогенцоллернов.

То, что я получил свои первые длинные брюки ровно к тринадцатому дню рождения, я могу объяснить только тем, что старые традиции для него были живее, чем он сам себе признавался. Все остальные ритуалы, обычные для еврейского мальчика к этой дате, мне соблюдать не разрешалось. Хотя я бы с удовольствием выступил перед всей общиной, читая вслух Тору. Это отвечало бы моей уже тогда сильно развитой склонности к театральной игре.

Запальчивость, с которой папа отвергал все религиозное – и в первую очередь все иудейское – как несовременное и давно преодоленное, не имела ничего общего с какими-нибудь просветительскими познаниями или «Энциклопедическим словарем Майера». Он просто был убежден, что всякая форма веры в Бога отмечена чем-то провинциальным. А провинциальным он быть не хотел ни за что на свете – как многие люди, которые сами родом из провинции. Старался казаться более городским, чем коренные берлинцы, но так и не смог до конца избавиться от интонаций своей юности с раскатистым «р» и сдавленными гласными.

Может, это от него я унаследовал склонность к притворству. Он всю свою жизнь играл одну роль: интеллектуального псевдореволюционера. Но обстоятельства – как пелось в песенке: «он был революционер, а по жизни фонарщик» – позаботились о том, чтобы его мятеж всегда оставался чисто теоретическим. Внешне это на нем никак не сказывалось. В любое время, дома тоже, он был корректно одет, как и следовало ожидать от директора швейной фабрики со стремлением к лучшей клиентуре. Костюм сдержанного рисунка с жилеткой, шелковый галстук, неудобно жесткий воротник. К этому еще усы, которые он хотя и

не закручивал вверх в манере *всего достиг*, но которые требовали регулярного ухода специальной щеточкой.

Он был, как и мама, не очень высокого роста. Когда дело доходило до педагогики, я, длинная жердина, вынужден был садиться, чтобы во время головной уборки ему не приходилось взирать на меня снизу вверх.

Если бы он был еще жив – как я счастлив был бы обнять его и шепнуть на ухо: «Творожья ты башка!»

В отношении к родителям мне не в чем себя упрекнуть. Я всегда о них заботился, в том числе и в эмиграции. Если бы я мог их спасти, я бы их спас. Я бы даже любил их, если бы они это допускали. Но мой во всякое время трезвомыслящий отец не любил сентиментальничать, да и в мамином благовоспитанном мире нежности предусмотрены не были.

Я не жалуясь. Я никогда не испытывал в чем-нибудь недостатка. Вот только некоторым вещам я не научился. В доме без музыки музыкантами не вырастают. В качестве режиссера мне хорошо удавалась постановка любовных сцен. Потому что и в повседневности мне всякий раз приходилось размышлять, как это бывает. Дома мы в этом не упражнялись.

Мои родители любили меня, в этом я уверен. Они просто не умели это показать. У нас было не так, как я это представлял себе в семье. Не так, как я любил бы моего собственного ребенка. Не так, как этот ребенок любил бы меня. Не так...

А было так, как было.

Они много сделали для меня. Так, как им казалось правильным. Может быть, не знаю, они после моего рождения купили справочник по воспитанию и прорабатывали его пункт за пунктом. Если в книге не попадалось выражения чувств, это была не их вина. Мама умела чистить апельсин ножом и вилок, но не знала, как обнять близкого человека. Этому ее не научили. Даже наоборот: в Бад-Дюркхайме, что среди виноградников, это из нее вытравили.

Когда я потом встретил Ольгу, самым чудесным для меня было в ней то, что такие вещи были для нее совершенно естественными. Ей не приходилось над этим задумываться. Она происходила совсем из другой семьи.

В тот день, когда она должна была представить меня в Гамбурге своим родителям, у меня была сценическая лихорадка почище, чем перед важнейшими премьерями. А ее мать расцеловала меня в обе щеки, а отец обнял за плечи. Для этого ему пришлось привставать на цыпочки, и над этим мы все вчетвером смеялись.

Потом мы с Ольгой вместе поехали в Берлин, и я снова трясся в лихорадке. Она же была совершенно спокойна. Я думаю, она вообще не заметила ту обезличенную искусственность, с какой была принята в новой семье. Ольга всегда обладала способностью, которой мне так недостает: принимать людей такими, какие они есть. А мне всегда приходится к ним притираться. Переукладывать их так и этак в моей голове.

При первой встрече мама протянула новоиспеченной невестке руку с такой искусственной элегантностью, что Ольге удалось ухватить ее только за кончики пальцев. Папа отвесил полупоклон, которому учил когда-то и меня, и сказал:

– Весьма рад познакомиться с вами, фройляйн Майер.

Я-то представил ее по имени, но ему это казалось недостаточно корректным.

При том что папа с самого начала был от нее в восторге. А единственное, чем была недовольна мама, – так это тем, что Ольга имела профессию. В ее мире женщины не зарабатывали деньги.

Она им по-настоящему понравилась. Но они не умели это показать. К этому у них не было таланта.

Когда я маленьким мальчиком спросил у папы: «Ты меня любишь?» – он ответил: «Но это же само собой разумеется». То, что разумелось само собой, логически мыслящий человек не должен был еще и демонстрировать.

В больнице Вестерборка, когда мне снова стало лучше, я начал читать Библию. Когда это надо было сделать. Чтобы понять, почему некоторые люди так воодушевлены ею.

Там написано: «Чти отца своего и мать свою». Для этого требуется отдельная заповедь, потому что это не разумеется само собой.

Я не набожный человек, однако этой заповеди, могу сказать это с чистой совестью, я придерживался всю жизнь.

Только из меня получился бы совсем другой человек, если бы я рос не в сверхкорректной атмосфере Клопшток-штрассе. Точно так же, как мама была бы совсем другой без Бад-Дюркхайма. Или папа без своего родного местечка Кришт.

Кришт.

Это название следует произнести вслух, чтобы по-настоящему ощутить, насколько оно отвратительно.

Криииишт.

Кто же захочет быть родом из местечка с таким названием? Даже Наполеон, родился он в Криште, не сделал бы карьеры. Самое большее он стал бы унтер-офицером, при его росте. Но императором – никогда.

Браунау – вот название для места рождения. В нем уже содержится цвет рубашки. Но никак не Кришт.

У нас дома это было ругательством. Оно обозначало все неэлегантное. Если я ковырял в носу или клал за едой локти на стол, на меня покрикивали: «Тут тебе не Кришт!» Иногда папа приносил домой на проверку образец новой блузки или юбки, ведь моя мать выросла *на швейной фабрике*, как она это называла, и имела к этим вещам безошибочный вкус. В таких случаях она не тратила много слов, а лишь с согласием кивала или отрицательно качала головой. А иногда – это было ее самое уничижительное суждение – вытянув губы трубочкой, произносила: «Кришт». Что означало *немыслимо, провинциально, для Берлина совершенно непригодно*.

Кришт – он и есть Кришт.

Папа не так много рассказывал о своей юности в маркграфстве Бранденбург. Очень приятной она быть не могла.

– Есть места, – говорил он, – о которых не вспоминаешь. Их забываешь.

Что, конечно, неверно. Как раз те места, которые не хочется вспоминать, никогда не забудешь.

И все же он еще раз поехал в Кришт. Пожалуй, не по своей воле, а потому что нельзя было уклониться. Кто-то умер, уже не помню кто, и необходимо было ликвидировать хозяйство. Мне тогда было не больше пяти или шести лет, и, видимо, была какая-то причина, почему мне нужно было ехать с отцом. Может, мама опять страдала от своей истории с желудком и нуждалась в покое. Наверное, сомневались, что наша экономка – я не помню теперь ни лица ее, ни имени – сможет удержать меня в необходимой тишине. Думаю, дедушка предлагал забрать меня на несколько дней к себе. Это предложение также было твердо отклонено. Из-за сигаретного дыма и непедagogичных историй.

Как бы то ни было, меня, маленького Курта Герсона, ни разу не выезжавшего из Берлина, взяли в поездку. Мне впервые позволено было сесть в поезд и ехать очень далеко. До самого Кришта, который я, не испытывая при этой мысли ни малейшего страха, представлял себе как место, полное экзотических угроз и опасностей. Чего мне было бояться, если папа был рядом со мной?

У меня тогда была книжка с картинками, в которой богатырь-негр переносил маленького мальчика на плечах через реку, а у них за спиной мужчина в тропическом шлеме стрелял в крокодила. Приблизительно такая экспедиция будет и у нас – так я себе представлял.

Без крокодила, конечно, это я знал уже тогда. Но как минимум столь же волнующая. Чтобы быть во всеоружии на случай новых открытий, я взял с собой свою ботанизируку, в которой обычно приносил домой червей и жуков с прогулок в солнечные дни в Тиргартене.

Как же все-таки прочно сидят в нас ощущения! Стоит подумать про наш отъезд, и я снова испытываю удивление от того, что папа взял с собой лишь маленький чемоданчик. Не знаю, чего я ожидал – каравана тяжело нагруженных верблюдов? – но по моей детской логике казалось невозможным пускаться в столь дальнее путешествие с одной-единственной ручной кладью.

Лишь много времени спустя мне пришлось узнать, что в одном чемодане может уместиться целая жизнь.

Чувства – как и запахи – приспособление, чтобы удерживать воспоминания. Стоит только подумать об этом – и вот уже я снова переживаю радость предвкушения, лихорадку путешествия и то другое, горькое чувство, которое у меня на все времена связано с Криштом.

Наш поезд отправлялся с Силезского вокзала. Планка на вагоне возвещала экзотические цели: Кенигсберг, Эйдкунен, Санкт-Петербург. Мы ехали только до Кюстрина, а оттуда по пригородной ветке, где так великолепно свистят паровозы, до Кришта. Где оказалось не так, как я ожидал.

Точно так же, как я тогда, должен чувствовать себя старик, который все еще полагается на принципиальную порядочность немецких властей и потому все свое состояние инвестирует в договор пожизненного содержания в Терезине. Отдает его за квартиру с балконом и видом на озеро. Потом он выходит из пропускной в город и узнает, что здесь вообще нет озера, и балкона нет, и, естественно, нет и квартир.

В Криште не было вообще ничего. Я до сих пор ощущаю тогдашнее разочарование. В разочарованиях я знаю толк.

Там был всего один перрон и нечто, именуемое себя вокзалом. Для меня, берлинского карапуза, привычного к другим масштабам, просто какой-то сарай. Вокруг большой пустой рыночной площади, пахнувшей коровьим навозом, стояло еще несколько зданий. Церковь с фахверком и военный памятник. Раскиданные так беспорядочно, будто кто-то наобум опрокинул на местность коробку с набором кубиков «Немецкое захолустье». Я тут же почувствовал, что в воздухе тут нет ни малейшего признака приключений. Будь моя воля, я бы сразу вернулся назад.

А папа вдобавок сказал:

– Это мы еще даже не приехали.

Его Кришт, объяснил он мне, не здесь, где деревня бездарно притворилась городком, а в нескольких километрах дальше, в местности по имени Несселькаппе. Туда не проложена дорога, и дрожки, которые в Берлине стоят на каждом углу, туда не ездят. Нам пришлось добираться туда пешком, поэтому он и взял с собой так мало вещей.

То не могло быть зимой, хотя по ощущениям была именно зима: холодно и долго идти. Вспоминаются целые рои метеоритов из сухих листьев, которые ветер бросал нам в лицо. Мое пальто – наверняка со своей фабрики «Макс Герсон & С^о» – очень скоро перестало греть. Никогда в жизни я больше так не мерз, как в том пешем походе.

А вот и неправда. Я мерз достаточно часто. Но в следующие разы я уже знал, что мерзнуть – далеко не самое страшное, что может с тобой приключиться. Уже усвоил, что мир не придерживается правил игры.

Папа шел впереди – конечно же, чтобы прикрыть меня от ветра, который дул нам в лицо. В одной руке он нес чемодан, а другой придерживал шляпу. Сзади это выглядело так, будто он отдает честь. Я выдумал про себя такую историю: будто мы два солдата, идущие на битву. Или уже выиграла ее и теперь шагаем домой, чтобы торжественно рапортовать о

победе. Возможно, мы были ранены, но стараемся не подавать виду. Над такими вещами мы только посмеиваемся. И маршируем навтыжку, строевым шагом в ногу. Фантазия помогала мне – как она помогала мне и впредь, но с какого-то момента я уже не мог поспевать за папой. То ли он шел, сам того не замечая, все быстрее, потому что его тело стремилось согреться от быстрой ходьбы. То ли я стал идти медленнее. Так или иначе – я отстал.

Но не окликнул его. Герои так не поступают.

Внезапно я оказался один на пустой дороге, обсаженной по обе стороны кустами. Гравийное полотно все было в выбоинах и лужах. И я был на этой дороге один, совсем один. Папа скрылся за поворотом. Его больше не было видно. Я побежал, задыхаясь и плача, поскользнулся на чем-то, упал, поднялся, побежал дальше, лицо на ветру все в слезах и соплях.

А вот и поворот, а за поворотом – перекресток с указателем, который показывал в четыре пустые стороны.

Папы не было.

Только его чемоданчик еще стоял здесь.

Я был уверен, что потерял его. Лишился навсегда.

Целую вечность я стоял там один. Недолгую вечность. Сколько времени нужно человеку, чтобы справить нужду? Папа снова вышел из кустов, вытер мне лицо и утешил меня.

– Бедный мой драник, – сказал он.

Когда я снова успокоился, он, чтобы переключить мои мысли на другое, зачитал мне вслух названия на указателе. Там было селение *Несселькаппе*, совсем недалеко. На другой стрелке указателя был *Зонненбург*, «солнечная крепость», что для меня, продрогшего, было бы заманчивой целью.

– Но мы туда не пойдем, – сказал папа. – Там только каторжная тюрьма.

Позднее – я узнал об этом в Париже – из той каторжной тюрьмы сделали концлагерь, и слова «Мы туда не пойдем» уже никому бы не помогли.

И потом эта чужая квартира.

Собственно, не такая уж и чужая. Квартира родственника, хотя теперь я и не вспомню, к какой ветви нашего родового древа он принадлежал. После урагана нет смысла пересчитывать обломившиеся ветки.

В квартире не было ничего необычного, но она показалась мне жуткой. Мы были вторженцы, форменные взломщики. Один выдвижной ящик письменного стола папа, не найдя к нему ключ, поддел ломиком. А владелец всех этих вещей только что умер. Мы заняли комнаты мертвого.

И еще там стоял этот запах, эта непроветренная затхлость. У нас на Клопшток-штрассе тоже однажды появилась вонь, она становилась с каждым днем сильнее, а потом оказалось, что в воздуховоде отопления разлагалась мышь. Когда мы ее нашли, она была уже высохшая, и папа зачитывал из «Энциклопедического словаря Майера» что-то о египетских мумиях.

Умерший, осенило меня тогда, гораздо мертвее разложившейся мыши. Когда ночью я лежал рядом с папой в чужой супружеской кровати, прислушиваясь в темноте к чужим шорохам – или к чужому отсутствию шорохов, – то от страха не мог заснуть. Я был уверен: умерший мог появиться в любую минуту и что-нибудь сделать нам, вторгшимся захватчикам.

Всю мою жизнь в каждой покинутой квартире я испытывал то же чувство. Не важно – кто-то в ней умер, бежал или был депортирован.

Днем папа вел переговоры с людьми, которые хотели купить что-то из оставшихся вещей. Сперва я думал, что это все его друзья. В разговорах с ними его речь все больше разберлинивалась и приобретала диалектную окраску, которую он позволял себе только

в узком семейном кругу. Но эти мужчины не были членами семьи. По какой-то причине он, казалось, их боялся. Это отчетливо ощущалось, хотя он и смеялся над моими вопросами на сей счет.

Вероятно, он распродал все по дешевке. Никто из заинтересованных не вышел из квартиры с пустыми руками. Каждый волок хотя бы стул или корзину, полную посуды. Припоминаю напольные часы, которые вдруг начали бить, когда их уносили. А когда четверо мужчин, чертыхаясь, тащили вниз по узкой лестнице тяжелый буфет, одна из резных ножек обломилась, и они потребовали снизить цену за ущерб.

В тот же день в пыльном углу, где десятилетия простояла на одном месте прикроватная тумбочка, я нашел прусскую серебряную монету 1850 года. На ней было написано «разменная монета», чужое слово, которое меня очень впечатлило. Отец разрешил мне взять грошик себе, и уже будучи взрослым, я долгие годы все еще носил его в бумажнике как талисман. Пока в один прекрасный день он, как и многое другое, куда-то не подевался.

Квартира все больше опустошалась и, казалось, становилась при этом все просторнее. Стены, как мне чудилось, росли в высоту. Там, где раньше висели картины, на обоях обнажались светлые пятна. Все уходило, и в последнюю ночь наши матрацы лежали на полу, потому что кровать была уже продана.

Лишь небольшую стопку книг никто не хотел забирать. Книги были напечатаны незнакомым шрифтом, папа сказал, что это жидковский хлам, который не заслуживает внимания.

Но не это было самым важным из того, что произошло в Криште. Самым важным было кое-что другое.

Куда более неприятное.

Это произошло на второй или третий день, как мы прибыли. Погода улучшилась. Там, где низко стоящее солнце падало в окна – словно световой конус театрального софита, – танцевали пылинки. Если хлопнуть в ладоши, они на миг бросались врассыпную, будто испугавшись звука. Но вполне возможно, воспоминание об этом детском эксперименте относилось вовсе не к тому дню, и моя память ввела его туда лишь впоследствии.

Не важно.

Чем бы я ни убивал время в этой чужой квартире, для моего издерганного отца все было слишком громко. Он предложил мне пойти на улицу, откуда доносились голоса играющих детей. Мальчиков моего возраста. С которыми, сказал папа, я наверняка прекрасно найду общий язык.

Мы играли во что-то сложное – нужно было с закрытыми глазами проскакать определенную дистанцию так, чтобы не наступить на запрещенное поле. Разрешенные и запрещенные поля процарапывались на сырой земле сучком. Утоптанная почва, в которой это было возможно, показалась мне большим преимуществом по сравнению с берлинским асфальтом.

Я не знал правил и делал ошибки. Другим это нравилось. При каждом промахе они могли высмеивать меня, что и делали – без всякой, впрочем, злобы. Я помню маленького мальчика в рваной рубашке, который никак не мог унять восторга от моей неуклюжести. При ходьбе он подволакивал ногу и был, наверно, хуже всех – пока не появился я.

Вскоре я понял правила и затвердил поля. Позднее я всегда быстро заучивал текст ролей. Я был уже близок к тому, чтобы пройти дистанцию безупречно, как вдруг кто-то преградил мне путь. Кто-то выше меня ростом. Гораздо выше. Первое, что я увидел, открыв глаза, был его серый пуловер грубой вязки.

Мальчик лет шестнадцати. И он был не один. С ним были еще двое. Только что усвоенные правила игры были для меня настолько важны, что первым делом я подумал: да ведь они стоят на запрещенных полях. Почему же им никто об этом не скажет?

Но тут уже не было никого, кто мог бы им об этом сказать. Мои товарищи разбежались.

Трое мальчиков, которые казались мне взрослыми – как мужчины, как великаны, – подвергли меня допросу. Как меня зовут, откуда я и чего здесь забыл.

– Меня зовут Курт Герсон, – сказал я и добавил, как меня научили на тот случай, если я потеряюсь в городе: – Клопшток-штрассе девятнадцать.

– Клопшток, – повторил парень. – Что ж, дельное предложение. Значит, ты хочешь, чтобы мы взяли штук и отхлопали тебя как следует?

Двое других заржали над этой игрой слов. Так ржут пьяные посетители кабаре над двусмысленной шуткой.

– Нет, – сказал я. – Не надо.

– Еще раз: как тебя зовут?

Он придвинулся ко мне так угрожающе, что я не мог уклониться от его несвежего запаха. Я бы с удовольствием отступил на шаг, но не осмелился. Есть рекламное фото, на котором хлипкий Хайнц Рюман стоит передо мной, глядя на меня снизу и почти уткнувшись носом в мое толстое брюхо. Примерно таким было и тогда соотношение величин. В ателье мне для снимка подставили ящик. Парню в Криште ящик не требовался, чтобы взирать на меня сверху.

– Меня зовут Герсон, – повторил я. Голос у меня уже начал дрожать. – Курт Герсон, да.

– Герсон... – Мой мучитель, казалось, искал остроту, чтоб была еще выразительнее, чем про «штук» и «клопать», но в голову ему ничего не приходило. – А кто тебе разрешил тут топтаться?

– Мы только играли.

– Кто тебе это разрешил?

– Мой отец. Он сказал...

– Твой отец? Интересно. Его, наверно, тоже зовут Герсон?

Я кивнул. Мой голос становился все тоньше, а тут и совсем пропал.

– Я думаю, он врет, – сказал парень. – Как вы считаете?

Остальные тоже так считали.

– Мне кажется, у него нет отца. Такой фамилии, как Герсон, вообще не бывает.

– Разве что у евреев, – сказал его приятель.

– Верно, – подтвердил вожак. – Придется проверить.

И они стянули с меня штаны – прямо посреди улицы. Один крепко удерживал меня, второй отстегивал помочи, а вожак смотрел, действительно ли я могу носить фамилию Герсон. Он даже присел на корточки, чтобы разглядеть как следует.

– И правда, – сказал он в итоге. – Типичный Герсон.

– Скорее Герсыночек, – поддакнул второй, и они снова заржали.

Получив удовольствие сполна, они оставили меня. Со спущенными по щиколотки штанами и трусами.

Просто оставили стоять. В Криште, в местечке Несселькаппе.

Им потом досталось.

В самый важный момент папа посмотрел в окно и теперь бежал по лестнице. Его шаги – словно гроза, словно град по крыше. Он распахнул дверь, но той троицы уже не было.

Он опустился передо мной на колени, и хотя он всегда придавал большое значение своей внешности, на сей раз ему было безразлично, что сырая земля перепачкала ему брюки. Он взял меня на руки, родной отцовский запах окутал меня, я снова был одет, и сказал:

– Если тебе хочется поплакать, поплачь, это ничего.

Но я не хотел плакать. Я был мужествен.

– Сейчас мы пойдем в полицию, – сказал папа. – Но прежде я хочу посмотреть, хорошо ли ты выучил эту игру.

Я пропрыгал перед ним всю дистанцию без единой промашки, с закрытыми глазами.
– Я тобой горжусь, – сказал он.

Над входом в полицейский участок распростер крылья большой орел. Внутри нас ожидал жандарм с могучими усами, с кивером на голове. Он отдал папе честь, и мне пришлось рассказать все, что произошло и как выглядели те трое парней. Я сделал это очень хорошо. Я обрисовал пуловер, на который все время пялился, – какого он был цвета, и что под мышкой была дыра, и что все пахло очень похоже на кресло, которое все еще стояло в квартире для продажи.

– Вот это амбарчик, – сказал жандарм и все записал. Он похвалил меня за то, что я так внимателен. Когда я закончил рассказ, он закрутил вверх кончики усов и сказал: – Мы сейчас же займемся этим, господин Герсон.

Затем он вышел наружу. Шпоры на его сапогах звенели при каждом шаге, а сабля, являвшаяся частью его униформы, болталась туда-сюда.

Та троица была известными правонарушителями, и он знал, где их искать. Вожака он взял на месте, и тот расплакался – так жалобно, что его можно было только презирать. Из носа у него текли сопли, платка не было, и он вытирал их рукавом, что считалось у нас дома наихудшим из всего плохого. Жандарм волок его за собой. Двое других шли рядом без конвоя. Им только связали руки за спиной.

– Это они? – спросил меня жандарм.

Они здорово перетрусили и отдали бы все, чтобы я только их не выдал. Но я был беспощаден и сказал:

– Да, это они.

Потом было судебное разбирательство. Судья сидел на высоком стуле и держал в руке молоток, которым то и дело стучал по столу. Я дал показания как свидетель, подняв руку для присяги, и те трое были осуждены.

– Тюрьма, – сказал судья, и им не помогло даже то, что они упали на колени и вымаливали помилование.

Только я мог бы их помиловать, но я и не подумал это делать. С каменным лицом я смотрел, как их заковывают в цепи и уводят. Папа похлопал меня по плечу и сказал:

– Молодец.

Потом мы вернулись в квартиру. Люди, которые хотели что-нибудь купить, были теперь гораздо вежливее. Если кто-то проявлял недостаток вежливости, я выхватывал саблю – мне подарил ее жандарм, – и тот человек от страха сдавался и не торгуясь платил ту цену, которую папа требовал за предмет мебели.

В тот же день квартира была пуста, а поскольку у нас теперь было много денег, мы не пошли из Кришта пешком, а вызвали к себе поезд, прямо к дому. Когда мы уезжали, люди выстроились шеренгами и кричали «ура».

На Силезском вокзале нас встречала мама, она очень боялась за меня. Но я ее утешил и сказал:

– Ты больше за меня не бойся. Я теперь большой и могу за себя постоять.

Она мной очень гордилась.

Однако ж было все не так.

Было так: я очень стыдился и не рассказал папе, что со мной сделали трое больших мальчишек. Что я был для них *жидок*, что не смог постоять за себя и что они разглядывали меня там, куда никому нельзя смотреть.

Он не узнал об этом никогда.

Никто не узнал.

Я и в детстве был уже хорошим фантазером. Если мне не нравилась действительность – а разве действительность может нравиться? – я рисовал себе другую. Поначалу неумелыми штрихами, как все детские рисунки, а потом, становясь старше, все с большими подробностями и оттенками. Я снимал целые фильмы в голове еще до того, как узнал о существовании кино.

Это не значит, что я отвергал неприятные факты. Я всегда очень хорошо знал, каков мир на самом деле, и не забывал об этом. Только предпочитал немножко приукрасить его для себя. Переписать свою роль. Искусство – да, это искусство! – состоит не в том, чтобы вымарать действительность из пьесы, а в том, чтобы наклеить ей фальшивый нос. Да так, чтобы мастикой не пахло. И нос не абы какой, а чтоб был лучше настоящего. Или хотя бы интереснее. Истории, которые я себе рассказывал, должны были казаться правдивее, чем реальность.

Правдивее реальности, вот в чем дело. Подмалевать реальность может каждый. Затворить ставни и внушить себе, что снаружи больше нет дождя. Отставить пьесу и бросить театр ни с чем. Закрывать глаза или сделать невидящими открытые. Это всегда удается. Можно и в Терезине уверить себя, что не происходит то, что происходит. Потому что не может быть того, чему нельзя быть.

Фантазия – это нечто другое. Только художники хорошие лжецы. Когда дилетанты хотят выдумать правду, видно, как пошатываются кулисы.

Такая придуманная правда не продержится долго. Только пока исполняется шансон или длится пьеса. Только до следующей интермедии.

Мама считала меня мечтателем, а папа называл меня «Курт, смотрящий в никуда». Но это не было дурной привычкой. Это был талант. То, что не всякому дано.

Калле был мне хорошим подспорьем. На характерные роли – предпочтительно начальственные. Но сам он придумывать для себя сцены не мог. Разумеется, он иногда говорил: «Сегодня мы построим воздушный шар и полетим на нем на Луну», – но это не было чем-то, возникшим в его собственной голове, а лишь подражанием. Потому весь мир был в тот момент в восторге от «Госпожи Луны» и только о ней и говорил. В роли короля или императора он не был убедителен. Ему непременно хотелось быть величественным. Без всякой фантазии. Ему бы никогда не пришло в голову непрерывно есть на своем троне, как это сделал однажды я в одной рождественской сказке. До такого бы он не додумался.

Я сделал из своего таланта профессию. Настолько абсурдную, как будто я ее выдумал сам. Люди надевают смокинг, надевают вечернее платье, о подол которого спотыкаются при ходьбе, и платят деньги за то, что перед ними притворяются. А они всему готовы верить. Если вошли не по контрамарке.

Театр – это нетрудно. Ведь ты там не один. Тебе предоставляют сцену, дают текст и режиссера. Я работал с Максом Рейнхардтом, так тот и из телефонного справочника наскреб бы убедительный диалог.

Нет, трудно притворяться только перед самим собой. Одновременно и верить, и не верить. Точно знать, что стоял со спущенными штанами, и все же утешать себя тем, что преступники теперь сидят в тюрьме. А там бегают мыши и крысы и много омерзительных пауков. Внушать себе фразы, которые сказал бы с радостью, если бы сказал. Похлопать балерину по заднице и у всех на глазах найти верный ход для любовной сцены, в то время как совершенно точно знаешь...

Это трудно. Это смог бы не всякий.

Я мог бы вписать в фильм Рама главную роль для себя. Последний большой выход. *Ведущий: Курт Геррон. Известен по театральной сцене и по киноэкрану.* Мог бы рекламировать любую ложь, которую ждет Рам, по отдельности. До блеска отполированными эпита-

тами в превосходной степени. Ведь именно это он заказал, добрый дядюшка Рам: огромное количество фокусов-покусов и дам, представленных лишь верхней половиной тела.

Я бы вписал для себя в сценарий фрак и цилиндр. Цирковой костюм, какой был на мне в «Голубом ангеле». Только живот под жилеткой придется чем-то набить. Он теперь не такой импозантный, как встарь. Гулять в лакированных башмаках по Терезину и рекламировать аттракционы. «Входите, почтенная публика! Подходите ближе, заходите внутрь! Здесь все хорошо, так изысканно!» Рубашка под фрак с рюшами, и грудь, бряцающая орденами. «Здесь вы видите нашу кофейню! Всегда свежие газеты со всего мира! С гарантированно хорошими новостями! Кофейные зерна поступают сюда свежеподжаренными прямо из Вены, а шварцвальдские торты – из Шварцвальда!» С указкой в руках, как положено ярмарочному зазывале. «А здесь, дорогие дамы и господа, наша диетологическая клиника по системе доктора Флетчера! Чтобы избавиться от лишнего веса, который набираешь при высококалорийном питании Терезина!» Перед каждым объявлением – барабанная дробь и туш. «Идите же, смотрите и удивляйтесь! Наш отель-люкс, называемый «Маленькой крепостью»! Этот дом еще ни один постоялец не покинул недовольным! Этот дом вообще никто ни разу не покинул!»

Ну, может, все-таки без фрака. Костюм Мюнхгаузена. Самое чудесное гетто в мире, представленное чемпионом лжи.

Если бы действительно можно было спрятаться в фантазиях, меня бы никто никогда не сумел отыскать.

Стоит мне только представить, что я действительно написал такой сценарий... Положил его перед Рамом. С самым серьезным видом. Может, он бы попался на эту удочку. Хотя бы на пару часов. Ирония не его конек. Кто привык лишь отдавать приказы, тот теряет чутье на промежуточные интонации. «Молодец, Геррон», – сказал бы он и выдал мне вознаграждение. Мошну золота или, что гораздо ценнее, кусок хлеба. С настоящим сливочным маслом.

Которое он потом распорядился бы снова выбить из меня, как только до него дошла бы ирония. Или кто-нибудь бы ему объяснил.

В кабаре всегда находятся зрители, которые чувствуют себя обиженными, когда другие уже смеются, а они все еще не поняли, в чем юмор. Они тогда выкрикивают что-нибудь злобное. Швыряются рюмками, если пьяные. Если их фамилия Рам, они ставят вас в список на ближайший транспорт. Или распоряжаются отправить вас в Маленькую крепость. Где у вас отпадет охота смеяться. Навсегда.

И тем не менее. Стоит только представить, как Рам поначалу находит сценарий хорошим...

Не надо бы мне искать спасения в таких идеях. Послезавтра он ждет от меня ответа. Оставшееся время нельзя разбазаривать на бессмысленные мечты.

Но до чего же это все-таки приятно – сбежать от действительности. В этом мы здесь поднаторели. В собственной голове мы все актеры. Импровизируем для себя лучшие героические роли в пьесе. Мы уже привыкли праздновать победу лишь теоретически. Торжествовать лишь в сослагательном наклонении. «Сослагательное наклонение – это временная форма ирреальных желаний», – внушал нам директор старших классов д-р Крамм. Он мог бы также сказать: «Сослагательное наклонение – это терезинская временная форма».

Я тоже мог бы стать кем-то другим.

Когда мы сдали экзамены на аттестат зрелости, когда они швырнули нам эти аттестаты зрелости, словно бросовый товар на распродаже, то за нами бегал, когда дело уже было сделано, служащий дирекции – то ли Хинце его звали, то ли Кунце, что-то в этом роде – с ведомостью, которую в спешке забыли заполнить. По распоряжению директора старших классов д-ра Крамма, ведомости велись у нас по всем мыслимым темам: по пропускам занятий, по расходу мела, по использованию препаратов в кабинете естественных наук. Поэтому уче-

ники дали ему прозвище Одиссей, о чем он, разумеется, знал, но из тщеславия толковал это прозвище как комплимент. Никто так и не объяснил ему, что его кличка происходит от прозвания Одиссея: *Хитроумный*¹. То обстоятельство, что помешанный на статистике д-р Крамм мог просто забыть про одну из своих излюбленных ведомостей, кажется мне более яркой приметой того, что дни были чрезвычайные, чем военный клич кайзера Вильгельма II: «Я не знаю больше никаких партий, я знаю только немцев».

В ту ведомость, которой Хинце-Кунце размахивал так яро, будто это экстренный выпуск газеты, извещавший как минимум о взятии Парижа, каждый из нас должен был внести направление дальнейшей учебы, которое он выбрал. Другой карьеры, кроме академической, для его учеников даже не предполагалось, в этом *хитроумный, избобилующий списками* Одиссей не сомневался. Только что в своей выпускной речи он вещал, что отечество сделало нам подарок в виде классического образования и что мы теперь получили возможность не остаться в долгу и вернуть маленькую часть нашей благодарности в виде службы отечеству. После чего потом, закалившись в боях, мы возьмем штурмом бастион науки столь же победоносно, как прусские герои взяли укрепление датчан в Дюппеле.

Слово *артист* я тогда не вписал. Об актерстве как о профессии я вообще не думал. Тому, кто в свободное время играет на скрипке или катается на коньках, тоже не придет в голову сделать из этого профессию.

Я написал: *медицина*. Годом раньше это была бы *юриспруденция*. Ее изучали тогда все сыновья еврейских швейников. Так, как я представлял себе профессию адвоката, она мне очень даже нравилась. Эффектным выступлением убедить присяжных в невиновности клиента – это не так уж далеко ушло от тех игр, в которые играли мы с Калле.

Он был единственным, кто не заполнил ведомость всерьез. Все эти годы он был уверен, что не получит аттестата, и потому не строил планов о профессии. Он ответил на вопрос о направлении своей будущей учебы очень просто: *жить*. Как и у многих моих соучеников, его план не осуществился.

Первый ученик нашего класса, который – как все первые ученики – собирался стать учителем, предпочтительнее всего учителем латыни, вписал *филологию*. Ему так и не пришлось ее изучать. Четыре года он провел на фронте, вопреки всем законам вероятности избежал даже ранений и умер в 1918 году от дизентерии.

Я написал: *медицина*.

Это было так: когда я учился в младшей ступени старших классов, дедушка заболел. Совершенно неожиданно, и я не мог в это поверить. Естественно, стар он был всегда, как и полагается деду, но вместе с тем и бессмертен. Я тогда еще не знал, что и близкие люди однажды просто больше не смогут быть с нами.

Он лежал в своей постели, иссохший, и тело его под тонкой кожей становилось все меньше. Д-р Розенблюм, вместо того чтобы его лечить, задумчиво качал головой и пытался на латыни объяснить то, чего он не понимал по-немецки.

– Врачебное искусство имеет свои границы, – сказал он. – *Carcinoma bronchialis. Incurabilis.*

Дедушка не обманывался на свой счет и до самого конца сохранял чувство юмора. Когда папа однажды впал в чрезмерный оптимизм и неестественно громко принялся утверждать: «Все опять будет!» – он завершил фразу своим новым шепчущим голосом: «Ты хочешь сказать: опять будет погребение».

Болезни выводили моего отца из себя. Потому что тогда становилось ясно, что в критической ситуации он совершенно беспомощен.

Однажды, когда я сидел со своим больным дедом, он попросил меня раскурить сигару.

¹ Омоним немецкого Listenreich (изобилующий списками, ведомостями).

– Сам я уже больше курить не могу, – сказал он, – но запах мне все еще нравится. И я давно уже хотел научить тебя курить сигары.

Я оказал ему эту любезность так старательно и основательно, что обрыгал потом весь туалет. Это был последний раз, когда я слышал смех моего деда.

Под конец уже не удавалось унять его боль.

Тогда я решил стать врачом. Таким, который исцеляет всех своих пациентов. Тут снова в игру включалась фантазия.

Мой дед объяснял мир притчами. Поучительными, смешными и жуткими.

Когда я в детской неловкости в очередной раз упал и хотел, чтобы он утешил меня, залитого слезами, он позволил мне взобраться к нему на колени и тихонько замурлыкал песню, которой он всегда умел утешить меня – еще трехлетнего: «Мы едем на поезде, чух-чух, на поезде, мы едем на поезде, кто с нами в путь?» Потом он вытер мне своим платком остатки слез – платок пропах, как все у него, родным запахом и сигарами – и принялся рассказывать.

Когда-то давно, сказал дедушка, когда мир был такой новый, что в нем все еще пахло свежей краской, у всех людей было по три ноги, поэтому они никогда не падали.

– На трех ногах человек устойчив, – сказал он, – это подтвердит тебе любая кухонная табуретка.

Однако в трех ногах, рассказывал он дальше, был и свой недостаток: с ними неудобно было идти вперед. Две ноги всегда объединялись против третьей, и двигаться можно было только по кругу. В этом свежестроенном мире необходимо было многое разведать, но люди только смотрели, как животные опережают их и выискивают для себя лучшие куски: медведь захватил лес, лев – саванну, а кит – море.

«И поэтому, – сказал дед, – люди решили однажды отрезать третью ногу. Это было нетрудно и совсем не больно. Мир был юн, и его составные части еще не спеклись так прочно, как сегодня. Можно ведь и кирпич сдвинуть с места голыми руками, пока цементный раствор не затвердел.

Теперь людям стало гораздо привольнее, и они сразу же забегали. Они спешили, потому что не хотели уступить животным лучшие куски мира. Хотели все захватить себе. И лес, и саванну, и море.

Но на двух ногах равновесие неустойчивое, и они падали, то один, то другой, лицом в грязь. У короля свалилась с головы корона, у судьи сполз его головной убор, а генерал приземлился в заросли ежевики, и колючками с него сорвало все ордена.

– Это все оттого, – сказал дедушка, помогая мне высморкаться в его носовой платок, – что бежишь без третьей ноги.

– А отрезанные ноги? – спросил я. – Что с ними сделали?

– Они все еще тут. Только прячутся, потому что боятся людей. Если быстро-быстро обернуться, можно иногда успеть увидеть, как они скрываются за углом. А если не уследишь, то они выскакивают тебе поперек дороги, и ты спотыкаешься о них. Вот как ты сейчас. Но ты не увидишь, как они подбегают. Или ты хоть раз видел ногу без человека?

Да, дедушка, я видел. Это было в 1915 году. Во Фландрии. И ноги, и руки, и головы. Видать, они не уследили.

В другой его притче речь шла о преисподней. Один одноклассник объяснил на перемене, что все евреи обречены на вечные времена гореть в геенне огненной. Я ему не поверил – однажды он уверял, что женщины рожают детей на свет через пупок, – но представление о вечном неугасимом огне зачаровало меня. Папу нельзя было об этом спрашивать, ведь это связано с религией, а он ее презирал. И я пошел к деду, и он истолковал мне ад так: «Когда создается человек, это всегда происходит в двойном исполнении. Одно исполнение –

во плоти и крови, а второе – в образе, который показывает его таким, каким он может стать, если распорядится своими врожденными талантами и способностями наилучшим образом. Образ человека сохраняется в течение всей его земной жизни в своего рода небесной картинной галерее. Когда он потом умирает, его ставят перед его образом и сравнивают, что он действительно сделал с собой. Тогда он узнает разницу между тем, чем он мог стать, и тем дерьмом, которое он нажил на самом деле, – вот это и есть ад».

– Поверь мне, Куртхен, – сказал он. – Это больнее самого обжигающего огня. Ты не обманул меня, дедушка.

Одна из притч, которые рассказывал мне дед, привела к тому, что мои родители заявили в полицию. И что я впервые в жизни ел нугу.

Я спросил его, почему его фамилия Ризе², Эмиль Ризе, хотя он не особенно высокий мужчина. Мой дед воспринимал такие вопросы всерьез, это была его чудесная черта. Или давал понять, что воспринимает тебя всерьез. Я был в том возрасте, когда еще оптимистично веришь, что все в мире должно иметь логическое основание и что это основание можно найти. Если как следует подумать, эта установка не так уж отличалась от установки моего отца с его *энциклопедическим словарем*. «Почему?» – самый оптимистичный вопрос на свете. Ибо предполагает возможность глубокомысленного ответа.

Итак: почему Ризе? Мой дед ответил мне в своем обычном стиле – притчей. Он рассказал ее шепотом, поскольку выдавал мне, как он сказал, огромную тайну. А именно: на самом деле он был – и мне нельзя было, большое индейское честное слово, никому этого выдавать – великан ростом больше трех метров. Но такой избыток роста очень неудобен в большом городе – таком, как Берлин, – всюду бьешься головой, и приходится подолгу ходить согнувшись. От этого болит спина, а когда идешь к врачу, у того нет даже кушетки подходящей длины. Поэтому великаны Берлина собрались вместе и раз и навсегда решили сделаться меньше. Для этого есть специальные сокращающие пилюли, их принимаешь по одной перед завтраком, но об этом нельзя забывать. Иначе сразу начнешь расти, и самое позднее к обеду уже затрещат первые швы на твоём костюме.

– А у меня почему фамилия Герсон? – спросил я.

– Про это я знал, – сказал дед, неторопливо раскуривая сигару. Так делают актеры, когда надеются, что простые действия помогут им вспомнить текст. – У меня была книга, там было про это написано. Но потом пришли воры и похитили ее. Хочешь, расскажу тебе историю про воров?

– Нет, – сказал я. – Хочу послушать историю про Герсонов!

И мой дед – разве могло быть иначе? – действительно знал историю про Герсонов. В этой истории действовал придворный поставщик Герман Герсон, который в своем ателье на Вердерском рынке шил мантию для коронации кайзера Вильгельма.

– Правда, Вильгельм тогда был лишь король, но это уже другая история.

То была самая красивая мантия, какую когда-либо носил правитель, и она так удачно скрывала покалеченную руку, что ее вообще никто не замечал. Портной Герсон должен был получить за это блестящий орден. Но так и не получил, потому что во время коронации неожиданно скончался.

– И знаешь, почему? – спросил меня дед. – Потому что сделал свою работу слишком хорошо!

Старый Фриц – тоже король, но уже умерший – взирал на торжество со своего облака. Когда он увидел мантию, со всем ее бархатом, шелком и золотой вышивкой, им овладела

² По-немецки «великан».

такая зависть, что он забрал портного Герсона к себе на небо. Чтобы он там сшил ему еще более великолепную мантию.

– Да, и вот теперь он там сидит, Герман Герсон, и выполняет свое новое поручение.

– А он нам родня? – спросил я.

Если бы мой дед сказал «нет», ничего бы не случилось. Герсонов много – как песка в море. Но тот никогда не мог устоять против хорошей истории и поэтому ответил:

– Само собой! Все Герсоны между собой родня. Знаменитый базар на Вердерском рынке, ты его наверняка знаешь, как раз и основал этот двоюродный дед Герман. Если ты там назовешь свою фамилию, тамошние служащие дадут тебе большой кусок шоколада.

Разумеется, я знал базар моды Герсон. Ведь мои родители, в конце концов, были швейниками. Застольные разговоры на Клопштокштрассе постоянно крутились вокруг профессиональных тем. Этот базар, как я понял, считался в мире моды мерилком всех вещей – лишь самые дорогие ткани и лучшая клиентура. То, что там продавалось, задавало тон: что носить в высшем обществе, а сезон или два спустя это носили и клиенты фабрики «Герсон & С^о». Однажды я с родителями проходил мимо после делового визита на Хаусфогтайплац, где был центр берлинских швейников. Перед входом стоял мужчина в роскошной униформе. Но то был не генерал, а человек, открывающий дверь клиентам.

– Вот какую фирму надо иметь, – сказал тогда папа. Но ни словом не обмолвился о том, что это наши родственники.

Однако меня поманил не блеск базара моды, а шоколад. Хотя в те времена я еще не знал постоянного чувства голода.

Что означает фамилия Герсон на самом деле, я узнал лишь сорок лет спустя.

Дорогу от «Макс Герсон & С^о» до Хаусфогтайплац я, как мне казалось, знал. Несколько раз я ходил туда с родителями. По Ляйпцигерштрассе пересечь две поперечные улицы, потом налево по Иерусалимер. Названия я запомнил, потому что папа на этом перекрестке всегда говорил одну и ту же фразу:

– Все дороги ведут в Иерусалим.

Ребенком я не понимал, что он тем самым намекал на многих жидков, имеющих там магазины, но понимал, что это, наверное, шутка, поскольку мама, сыгравшаяся с ним партнерша, всякий раз заново смеялась над этой слабенькой остротой. Ах, эти милые смешки воспитанницы пансиона со стыдливо отвернутым лицом и ладошкой, прикрывающей рот!

Дорога от Хаусфогтайплац до Вердерского рынка была мне уже не так знакома. Но меня это не смутило. Имея перед глазами цель, я всегда был склонен переоценивать свои способности. Перед самым первым моим выступлением в арт-кафе решительная Рези Лангер сказала мне:

– Не бойся, Герсон, мания величия – это уже половина квартплаты.

Пока папа был занят в конторе, мама беседовала с завскладом и правой рукой хозяина Грэмлихом, по-военному угловатым мужчиной, который обладал потрясающей способностью втыкать себе в руку иголки, не моргнув глазом. Я очень удивлялся его стойкости и до сих пор помню свое разочарование, когда узнал, что рука у него была протезом. Оригинал он потерял на франко-германской войне.

Таким образом, я был на складе совсем один и играл там в прятки. По крайней мере, так считали мои родители и потому не волновались за меня. Для этой игры мне никогда не требовались партнеры. Если бы кто-то действительно искал меня и даже, возможно, нашел, он только испортил бы мне игру. В своей голове я мог выдумывать себе куда более опасных преследователей и вместе с тем быть вполне уверенным, что они меня не найдут.

Когда родители собрались уходить и не нашли меня тут же, они сперва подумали, что я особенно хорошо спрятался. Я так и слышу крик моего нетерпеливого отца:

– Так, Курт, уже довольно! Прекращай баловство!

Но меня там уже не было. Я был на пути к базару моды.

До Хаусфогтайплац я добрался без проблем. Но в центре площади дорогу мне преградил фонтан, и, обходя его, я сбился с пути. Уже скоро я не узнавал ни домов, ни магазинов. Благоразумнее всего было бы попросить кого-нибудь о помощи. Ведь свой текст я знал: «Меня зовут Курт Герсон, Клопштокштрассе девятнадцать». Но в тот день я не был благоразумным. Да и всю остальную жизнь тоже.

Я шел дальше и дальше – возможно, плутая по одним и тем же улицам. Долгое время я был уверен, что за следующим углом или после следующего все-таки покажется моя цель. Но даже когда эта уверенность стала все больше и больше ослабевать, я не был готов сдаться. Я привык выдумывать сценарии, в которых играл главные роли, и не мог себе представить, что именно эта история не будет иметь хеппи-энда.

В какой-то момент я очутился на Шлоссплац между резиденцией кайзера на одной стороне и конюшней на другой. По бокам от входа в замок перед будками охраны неподвижно стояли два солдата в синих форменных мундирах и украшенных золотом островерхих касках. Чуть дальше стояли жандармы, расставив ноги и скрестив руки за спиной. Не так уж и ясно было, кто здесь кого охраняет.

Мне всегда внушали, что я в любое время могу просить у жандармов помощи. Тут бы я и попросил этой помощи, но доступ к ним перекрывали тяжелые железные цепи, и я не осмеливался через них перешагнуть. На одну из тумб, к которым они были прикреплены, я сел и предался наконец отчаянию. Я не знаю, что я оплакивал больше: то, что я безнадежно заблудился, или утрату шоколада, которого мне теперь уже никогда не видать.

Женщина, заговорившая со мной, показалась мне принцессой. Хотя она, естественно, была совершенно обыкновенной прохожей. Только принцесса могла в ответ на мои заикающиеся всхлипы-объяснения – Герсон, базар, шоколад – позаботиться первым делом не о том, чтобы я снова нашел родителей, а полезть в сумочку и достать коробочку с лакомством, какого я еще никогда не пробовал. С тех пор я люблю нугу больше, чем любые другие сладости.

Еще одна вещь, которую мне больше никогда не видать.

Нагоняя, которого я заслужил, мне удалось избежать. Родители были слишком счастливы снова обрести меня живым и здоровым. Папу рассердило лишь то, что из-за меня ему пришлось заявить в полицию, а потом отменять тревогу. Ведь он тем самым мог показаться неблагодарным, а быть неблагодарным он не хотел ни в коем случае.

– Как ты только мог додуматься до такого безумия? – удивлялась мама. Лишь гораздо позднее я признался ей, что виновата во всем была одна из историй ее отца.

В Терезине не заблудишься. Мы знаем каждый закоулок нашей тюремной камеры. Все прибыли на одну и ту же станцию. Знаем точно, сколько шагов оттуда до пропускной в Гамбургскую казарму. Или что у Ганноверской казармы ранним утром можно ощутить запах свежего хлеба из центральной пекарни. Тут же рядом, у Магдебургской казармы, где заседает совет старейшин, можно даже иногда учуять аромат настоящего кофе. И, если верить слухам, которые ходят по гетто, еще и других деликатесов. У Верхних Водяных ворот, которые – как все ворота в Терезине – представляют собой не проход, а преграду, пахнет уже дезинфекционными средствами из больничного медпункта в Верхне-Эльбском. Как только минуешь Нижние Водяные ворота, дорога от которых ведет на Прагу – чисто теоретически, поскольку для нас дороги не ведут никуда, – так уже снова пора сворачивать налево, мимо Дрезденской, Боденбахской и Ауссигской казарм. Вот и обошел почти весь Терезин. Недостает лишь последнего короткого отрезка пути: напрямик назад к станции. Куда не только

прибывают поезда, но откуда и отправляются. Отрезок, который каждому рано или поздно придется пройти.

Нет, в Терезине не заблудишься. Здесь все сооружено с военной точностью. Все как положено в крепости. Улицы пересекаются под прямым углом. Улиц пятнадцать.

L1, L2, L3, L4, L5, L6 – это продольные.

И в другом направлении – поперечные: от Q1 до Q9.

Больше нет.

Только когда здесь была комиссия Красного Креста, на один день все стало другим. Даже улицы переделали. Придумали для них названия и даже устроили для этого конкурс. Нагорная улица. Озерная улица. Где, конечно, нет ни горы, ни озера. Если бы они тут были, вход туда был бы нам воспрещен.

L3, 24, – это наш адрес. Дом 24 на Третьей продольной улице. Он известен также под названием «Казарма гениев». Рядом с Торговой площадью, хотя никакого вида на эту площадь от нас не открывается. Чтобы попасть к нам, надо пройти через казарму и выйти через задний ход. Во дворе – там, где вырыли отхожее место, – слева стоит маленький домик. Помещение на первом этаже уставлено койками, настолько негодными, что им даже в Терезине не нашлось применения. Но и разобрать и пустить их на дрова тоже нельзя. Они где-то зарегистрированы, и кому-то может прийти в голову провести инвентаризацию и проверить их наличие. Деревянная лестница ведет на верхний этаж. Четвертой ступени снизу нет. Это надо знать, потому что свет на лестничной клетке давно уже не горит. Наверху шесть крохотных комнатусек. Раньше, когда здесь правили австрийцы, когда еще существовала Австрия, этот домик был гарнизонным борделем, и дамы в комнатусках обслуживали клиентов. Теперь это квартиры. Надо быть знаменитостью класса А, чтобы получить такую.

Здесь это называется *кумбаль*. Или *кумбалек*, если совсем уж маленький. Отдельная каморка.

У нас двухъярусная койка – две рядом тут бы не поместились, – два стула и два ящика из-под маргарина, которые – поставленные друг на друга – имитируют стол. Пахнет, естественно, розами и весенней сиренью. Ведь отхожие места воняют. Но в Терезине воняет все. К этому привыкаешь. И десять тысяч человек завидуют нам из-за нашего жилья класса люкс.

Если Ольга права и война придет к концу еще до того, как нас увезут в Освенцим, если я сделаю фильм и немного затяну его производство, лишь чуть-чуть, чтобы меня не могли обвинить в саботаже, если мне повезет, если произойдет чудо, если, если, если – то я буду смеяться над L3, 24. «В борделе, где был наш дом», – буду я распевать. Все детали покажутся только смешными.

Если я это переживу, Терезин превратится в анекдот. Как вообще любая жизнь когда-нибудь сокращается до анекдота.

Всегда одинаковые подростковые истории, сто раз пересказанные, пока они, точно затертый скетч из ревю, не станут состоять из одних сплошных острот. С тем, что было на самом деле, они уже не имеют ничего общего. Поцарапанная копия фильма, которую слишком часто крутили. «Дело было так» – говорят, но так вовсе не было. Разве что слегка похоже. В лучшем случае.

А потом есть другие истории, другая история, о которой никому не говоришь и которую поэтому никогда не можешь забыть.

А в остальном? Обрывки. Осколки памяти. Детали мозаики, которые больше не складываются ни в какую картинку.

Запах жареной картошки, когда проходишь мимо квартиры консьержа. Хайтцендорфф, который что-то чинит у нас на кухне, пятно пота на его нижней рубашке – географическая карта с растущими континентами. Моя любимая мягкая игрушка, лев, шерсть у которого

все больше вытирается, пока в какой-то момент он уже не поддается ремонту, и я хороню его в Тиргартене под кучей осенней листвы. Мертвый голубь. Первая острога, которую я заучиваю: я усталый кенгуру. Кучер подводы, который на перекрестке стегает свою усталую лошадь. Лунное затмение 1906 года, как мы все таращимся в небо, пока в самый решающий момент его не затягивают тучи. Д-р Беллингер, который в кабинете физики хочет продемонстрировать нам упругий удар и при этом вывихивает себе руку. *Тому делать нечего, кто пишет, что *sum* – наречие.* Первый дирижабль над городом и моя зависть к Калле, которому разрешают поехать на полигон в Тегеле посмотреть на его приземление. Воздушный змей, который мне подарили на день рождения и который в первый же день запутался в дереве. Испытание мужества – проглотить дождевого червя, и как я от него откосил. Фейерверк, от которого я с криком проснулся, и мама со словами «Это новый век». И уже сейчас я не могу различить, то ли я вспоминаю само пробуждение – а ведь не было еще и трех лет, – то ли рассказ о нем.

Вот и вся моя юность. Больше ничего.

Слишком мало воспоминаний о моей матери. Я даже не могу уже припомнить ее лицо. Лишь пару несущественных деталей. Как она, кашляя, держала перед ртом кулак так, будто хотела деликатно выплюнуть в него вишневую косточку. Накрахмаленные белые блузки, которые она надевала по официальным поводам; тогда к ней нельзя было подходить близко, а то она хрустела. Она никак не могла или не хотела запомнить слово *конферансье* и вместо него говорила *конференцер*. Но это было уже потом, после войны.

«Я помню» – говорят обычно, но это неправда. Не по-настоящему. Мы что-то составляем – кусочек отсюда, затемнение там, и каждую сцену переписываем до тех пор, пока она не начнет подходить к нашему сценарию. То, что мы сохраняем в памяти, больше не имеет ничего общего с действительно пережитым – как театральная критика со спектаклем, который она описывает. Мы не можем быть объективными репортерами.

Но ничего другого не остается. Буквально. Если пьеса уже отыграна, ничего другого не остается. Лишь вырезки критических статей, которые все время собираешься как-нибудь привести в порядок, но до этого никогда не доходят руки. И когда все-таки достаешь из коробки пожелтевшие листки, в них речь идет в основном о главных ролях, а остальные проходят под грифом «Далее участвовали».

Далее участвовали: служанки, поварахи и прочий персонал. Я не могу вспомнить ни одного имени. Они носили белые передники и называли маму «милостивая госпожа». Я всегда хотел знать, почему они никогда не обращались к папе со словами «милостивый господин», что было бы логично, а обращались к нему «господин Герсон». Если и был какой-то ответ на мой вопрос, я его уже забыл.

Далее участвовали: ансамбль исполнителей ролей учителей. Обычные типы, ничего особенного. В фильме я распределил бы их роли таким же образом. Среди них пара масок с индивидуальными чертами: изобилующий списками – *хитроумный* — директор старших классов с бородой а-ля Теодор Герцль; д-р Беллингер, чьи естественно-научные эксперименты так редко срабатывали; учитель гимнастики по имени Эрбар, который меня невзлюбил. То ли из-за моей неловкости, то ли из-за фамилии Герсон.

Они хотели подготовить нас к жизни, но жизнь впоследствии не придерживалась их учебников.

Далее участвовали: три дюжины соучеников, из которых после войны я больше ни одного не видел. Мы не были тем выпуском, который проводит встречи. Несколько родственников, которые, казалось, произносили один и тот же текст: «Как мальчик вырос!» И кроме того...

Невозможно запомнить всех действующих лиц.

В больших пьесах в конце часто стоит список исполнителей: *солдаты, торговцы, народ*. Неплохое описание. Оглядываясь назад, видишь не больше этого.

И все же, все же, разумеется. Вечер с дедушкой. Вместе с его неприятной предысторией.

У меня было хроническое воспаление гортани – *Angina tonsillaris*, ведь я, в конце концов, изучал медицину, – и мне предстояла операция по удалению гланд. Тогда, в 1904 году, это была не только болезненная, но и весьма опасная процедура. Родители очень за меня беспокоились. Однажды, полагая, что меня нет в комнате, мама спросила д-ра Розенблюма:

– Это может быть опасно для жизни?

И он ответил:

– Лишь в редких случаях.

После этого я, окрыленный моей богатой фантазией, уже видел себя лежащим в гробу и решил составить завещание. Для выражения моей последней воли обычная страница из школьной тетради показалась мне не вполне достойной, и я тайком вырвал лист из старого маминого альбома для стихов с оттененными картинками и нарисованными цветочными гирляндами. Я рассуждал так, что к тому времени, когда мама заметит это святотатство над бережно хранимой вещицей из ее пансионных времен, я давно уже буду мертв, и мне нечего бояться наказания. Совершенно не помню, кому какое сокровище я тогда хотел оставить.

Мое первое завещание так и осталось единственным. Позднее, когда смерть стала вполне реальной перспективой, уже не имело смысла улаживать никакие дела.

Сама операция оказалась хоть и очень неприятной, но отнюдь не принесла тех адских мук, которые я себе представлял. Когда я очнулся в больнице после хлороформного наркоза, то чувствовал себя, если не считать трудностей с глотанием, в общем-то, вполне сносно. Но я никому этого не показал, а играл свою партию выздоравливающего с одним особым нюансом. Мимикой изображал юного героя, который стоически переносит нечеловеческие страдания. Когда меня спрашивали, больно ли мне, я молча мотал головой, но так, чтобы каждому было видно: на самом деле боль адская. Образец для этой роли я взял из детской книжки о бурской войне, которую наш учитель иногда читал нам на последнем уроке в субботу. Там один смертельно раненный юный герой умирающим голосом произносил свои последние слова: «Свобода важнее жизни». После чего дядюшка Крюгер смахивал с обветренной щеки тихую слезу.

Я играл свою геройскую роль – по крайней мере, поначалу – не для того, чтобы чего-то добиться. Она просто соответствовала моему представлению о драматизме. Однако потом я заметил, что она имеет незапланированный, но в высшей степени приятный побочный эффект. Родителей настолько впечатлило мое мнимое мужество, что они обещали мне все, что только возможно. Как только я снова буду здоров. Я играл на повышение, оставаясь верным выбранному характеру, и шепотом уверял, что у меня нет никаких желаний. Что делало обоих только настойчивее в желании меня облагодетельствовать.

Дома меня ждала игрушечная железная дорога. Точная копия императорского поезда с рельсами, локомотивом с часовым механизмом, тендером и вагоном-рестораном. Я в том году мечтал получить такую на день рождения – и не получил из-за дороговизны. И все равно в моих воспоминаниях игра с этой дорогой вещью была связана только со скукой. В конце концов, ее можно было только завести и пустить по кругу. Есть желания, которые в мечтах привлекательнее, чем в реальности. В этом и фирма «Мерклин» не в силах была что-либо изменить.

А счастливым меня сделало нечто другое, что я получил к выздоровлению. И идея пришла в голову деду.

Мы с ним сделали выход. Только вдвоем.

– Вечер по-мужски, – сказал он. – Надень фрак, сегодня мы будем вращаться в лучших кругах.

Мне было семь лет, и у меня был матросский костюм.

Мама отнеслась к этому с неодобрением. Прежде всего потому, что дедушка не хотел ей выдавать, что он замыслил.

– Ты что, не можешь пойти с ним, как разумный человек, в зоологический сад? Или в музей? Почему это непременно должно быть ночью?

– Так надо, – сказал дедушка. – Бандитские притоны, где мы хотим напиться до беспмятства, раньше не открываются.

Таких вещей мама не понимала. Самым потрясающим было то, что на улице уже стемнело. Что это было приключение. В тот час, когда обычно слышишь: «Мыться, чистить зубы и спать!»

Когда мы вышли из дома, он первым делом закурил сигару и поднес раскрытый футляр мне:

– Не угодно ли гавану, господин директор?

– Спасибо, нет, господин коллега, – ответил я. – Я привык к лучшим сортам.

Импровизации никогда меня не пугали.

Дедушка расхохотался так бурно, что подавился сигарным дымом.

– Молодец, – сказал он. Моя лучшая рецензия.

Потом мы отправились ужинать в ресторан с очень благородными кельнерами. Они знали моего деда и приветствовали его расшаркиваясь. Господин Ризе то, господин Ризе се. Я до сих пор помню, как испугался, когда оберкельнер придвинул мне под задницу стул.

– Как всегда, пльзенское, господин Ризе? – спросил он.

– Два пльзенских, – сказал дедушка. – Мы хотим чокнуться с моим юным коллегой.

До сих пор я лишь раз пригублял пиво и считал его горький вкус отвратительным. Но когда кельнер вернулся с двумя стаканами, в моем был лимонад. Дедушка заранее основательно проинструктировал персонал.

Мы торжественно чокнулись. Затем он дал отмашку, чтобы нам принесли меню. Оно было таким огромным, что я едва держал его в руках и о большинстве блюд, которые там значились, не имел представления.

– Хотите, я сделаю для вас заказ, господин консул?

– Если вы будете так любезны, господин тайный советник.

Вряд ли я действительно был так находчив в оборотах речи и в реакциях. Но мне приятно вспомнить себя именно таким.

Странно: за свою жизнь я обедал и ужинал тысячи раз – и пару сотен раз был голоден в обед или вечером, – но большинство этих трапез выветрились из памяти еще до того, как они были переварены. А деликатесы, которые дед в этот вечер выбрал для меня, я не забывал никогда и в голодные ночи вновь и вновь в кулинарном онанизме наслаждался их послевкусием.

Майонез из лосося, бесполезно жирный, но невообразимо вкусный. Посыпанный укропом и кропленный каплей чеснока. К нему свежий, хрустящий хлеб, и он и впрямь был еще теплый, что показалось мне извращением закона природы. Ведь хлеб бывает теплым только по утрам.

– Вам нравится, господин директор?

– Благодарю вас за заботу, господин генерал.

Великолепнее начала этого вечера ничего не могло быть.

Ибо это было лишь начало. Едва я управился с майонезом, как снова принесли меню, и я должен был выбрать себе десерт.

На сей раз мне не нужно было объяснять, что есть что. В сладостях я разбирался. Однако избыток предложения поставил меня в тупик. Ведь если заказываешь что-то манящее, это в то же самое время означает, что ты отказываешься от чего-то другого, не менее привлекательного. Моя решимость не выдерживала такого испытания.

Дедушка решил проблему сам.

– Принесите всего понемногу, – сказал он.

Неплохой девиз, если жизнь предоставляет тебе выбор по меню.

Десерты принесли на огромном серебряном блюде со множеством отдельных тарелочек и розанчиков. Я не управился и с половиной.

– Ничего, – сказал дедушка. – Вечер только начинается. Если вашей милости будет угодно – извозчик поджидает нас.

Я был тогда – что, пожалуй, неизбежно в этом возрасте – инфицирован бациллой железной дороги, отсюда и исполненное родителями с запозданием мое желание ко дню рождения. Когда извозчик остановился у вокзала Фридрих-штрассе, у меня мелькнула безумная мысль, что дедушка задумал со мной уехать. Я уже видел нас обоих в спальном вагоне укладывающимися в постель, что к тому времени было моей самой большой мечтой.

Однако наша цель находилась на другой стороне улицы: Центральный отель, это вильгельминское пышное строение, буржуазный дворец, занявший собой сразу два квартала. А в Центральном отеле – «Зимний сад». Со временем я посетил в этом варьете много представлений; я видел Растелли и до коллик смеялся над Отто Ройттером. Но никогда больше я не был так зачарован, так околдован, как в тот первый раз.

Чего стоил один человек, который провожал нас на наши места! В том, что на нем была великолепная униформа, не было ничего особенного. Униформу можно увидеть повсюду. Даже слуги имеют свое боевое облачение. Но ордена у него на груди были вовсе не орденами, а конфетами, завернутыми в яркую бумагу. Получив свои чаевые, он сорвал один из орденов и подарил мне. Я очутился в сказочном мире еще до того, как поднялся занавес.

И потом представление! Одно чудо за другим! Там были медведи на роликах. Девочка – едва ли старше меня, – жонглирующая горящими факелами. Танцевальная пара, которая, как видно, рассорилась, потому что мужчина то и дело отталкивал от себя женщину, да так сильно, что она прямо-таки летела по воздуху, но снова становилась на ноги, только пару раз перевернувшись.

– Это апачи, – шепнул мне дедушка.

Я счел это одной из его шуток, ведь апачи – это индейцы, они носят головные уборы из перьев, это известно и в семь лет.

В нашем кабаре я и сам выступаю теперь в костюме апачи. За красным шейным платком можно деликатно скрыть то обстоятельство, что мой двойной подбородок доголодался до омерзительно свисающего лоскута кожи.

В программе была и певица. Я не понимал, почему зрители – по крайней мере, мужчины – после каждого припева ее песни так горланно хохотали, но я любовался сверкающими звездами на ее платье. Я принял их за настоящие бриллианты.

Я был околдован. И безнадежно заболел сценой.

Последним номером перед антрактом – позднее я часто становился свидетелем того, как ожесточенно торговались за кулисами за это престижное место в программе, – был «невероятный и неповторимый Карл Герман Унтан». Далеко уже не молодой человек, вышедший после этого объявления из-за кулис, не был облачен в великолепный сценический костюм, в каких щеголяли на сцене артисты до него. Не было и фрака, как у конферансье. А была вполне цивилизная черная бархатная тужурка.

Но жакет – я заметил это, только когда дедушка обратил на это мое внимание, – был без рукавов. Да, на плечах, где было их место, просто свисала вниз ткань наподобие накидки. Он родился без рук – он попросил конферансье сказать об этом публике, – но это, вопреки всему, сделало его одним из самых успешных в мире артистов варьете.

Поначалу он демонстрировал свою повседневную жизнь, причесывал ногами волосы, акробатическим вывертом надевал на голову шляпу и так далее. Потом последовали собственно цирковые номера. Он попадал из пистолета в сердце червонного туза, а потом – барабанная дробь и туш – последовала главная сенсация: он сел в кресло, и белокурая ассистентка поставила перед ним табурет. На нем лежала скрипка и смычок. И господин Карл Герман Унтан стал играть на скрипке. Ногами. Так, будто это самая естественная вещь. И даже не разволновался, когда лопнула струна. Ему принесли другую скрипку, он снова начал пьесу с начала и безошибочно доиграл до конца. Бурные аплодисменты. Овации стоя. Дедушке пришлось посадить меня к себе на плечи, чтобы я мог увидеть, как Карл Герман Унтан беспрестанно кланяется со скромной улыбкой.

Не то чтобы я запомнил тогда это имя. Оно вспыхнуло во мне несколько лет спустя, когда мне пришлось узнать, что невероятный и неповторимый господин Унтан был невероятным и неповторимым идиотом.

В тот вечер в «Зимнем саду» я впервые пережил это великолепное чувство театра, чувство, которому нет названия. Болезнь, которой мы, актеры, страдаем на сцене с таким упоением, называют сценической лихорадкой. Но как назвать соответствие этой болезни у зрителей? Это желание смотреть, когда от волнения уже невозможно больше смотреть, это со-трепет, и со-радость, и со-чувствие, это ощущение, что там наверху, на сцене все происходит лишь для меня, для меня одного, и вместе с тем ты подогрет реакцией остальных, это взаимное раскачивание вверх, в ликование, в отчаяние, в сопричастность, – почему в нашем языке нет слова для этого?

Естественно, так бывает далеко не всегда. Большинство представлений зрители только отсиживают. На сцене идет кровавая мясорубка, а зрители в партере размышляют над тем, в какой ресторан пойти после спектакля. Но иногда – оттого что на сцене Вернер Краус, или медведь на роликах, или скрипач без рук, – иногда магия удается. Кто в такой вечер окажется в театре, на всю жизнь попадет в зависимость от этого наркотика.

Я был околдован в тот вечер всех вечеров. И все же кульминация была еще впереди.

То была белая стена, только белое полотно, и на нем появлялись картинки. Картинки, которые двигались. И рассказывали некую историю.

Мужчина держал речь. Слов нельзя было разобрать, но в оркестре музыкант заткнул свою трубу, и она заблеяла. Потом ударник заколотил в литавры, и на экране стали ковать железо. Был построен гигантский снаряд, такой большой, что в него можно было влезть. И потом красивые девушки засунули этот пассажирский снаряд в пушку. Красивые девушки должны присутствовать обязательно. В кино скорее можно отказаться от камеры, чем от них.

Потом духовики грянули «Марсельезу», и одна из девушек выбросила триколор. Мне вспоминается сине-бело-красный, хотя фильмы тогда не имели цвета.

И потом была Луна, огромное, живое лицо, и потом «Вумм!» – сделали литавры, – и снаряд застрял у нее в глазу. Должно быть, я вскрикнул от испуга, потому что дедушка гладил меня по голове, успокаивая, и говорил:

– Все хорошо, Куртхен, все хорошо.

Потом путешественники вдруг заснули. «Знаешь, сколько звездочек вошло?» – пела скрипка, над спящими кружил метеорит, и на серпе месяца – поскольку и у Луны тоже был свой месяц – фея болтала ногами.

Они ничего этого не замечали, а проснулись и приступили к исследованиям. Один воткнул свой зонтик в почву, и зонтик рос и рос, как гигантский гриб. Потом явились лунные люди, и пришлось их побеждать. Это было нетрудно: достаточно было нанести им удар, и вот – «Плинг!» – делал всякий раз музыкальный треугольник – они растворялись в облаке дыма. Но их было слишком много, и, пользуясь численным перевесом, они поймали путешественников и повели их к своему правителю. Тогда я еще не знал Калле, но когда я думаю об этой сцене, именно его вижу в роли короля Луны.

Потом путешественникам удалось бежать, они снова забрались в свой снаряд, опрокинули его в пропасть с выступа скалы и упали обратно на Землю. Приземлились они в океан, но не утонули, а снова всплыли, их подобрал корабль и доставил на берег. Оркестр беспричинно интонировал «Славься ты в венце победном», а потом свет снова зажегся и чудо закончилось.

Должно быть, как-то мы все-таки добрались домой. Наверняка мама не спала. Наверняка корила моего деда.

– Ты знаешь, который час, а мальчику завтра надо быть в школе, а как от него пахнет куревом, противно-то как.

Наверняка я хотел рассказать о пережитом, но мне не разрешили.

– Завтра будет достаточно времени, а теперь спать, спать.

Может быть, от волнения я лежал без сна. Или мне снился сон. О лунных людях, и о майонезе из лосося, и о человеке без рук.

Всего этого я уже не помню. Да это и не важно. Важно только одно: я увидел мой первый фильм.

Не знаю, как долго я уже сижу здесь и пытаюсь думать. Не так давно, как мне кажется. Окно открыто, но я не слышу, чтобы кто-нибудь испражнялся. Старый Туркавка, который дежурит при уборной, что-то не произносит свой обычный текст, из которого состоит вся его роль: «Пожалуйста, мойте руки. Пожалуйста, мойте руки. Пожалуйста, мойте руки». Все тихо.

Люди, должно быть, еще на работе.

Почему я не могу распределиться в какую-нибудь мастерскую, как другие? В столярку или в картонажную мастерскую. Ходить туда, получать указания, выполнять их. Насколько бы это было проще. Расслаивать слюду или складывать в прачечной простыни. Что-нибудь такое. Только не быть режиссером. Только не думать об этом треклятом фильме.

Тут есть мастерская, где весь день клеят цветы из бумаги. Для каждого мертвого букет цветов. Работа у них никогда не иссякнет. Когда-то они сделали для меня хризантемы. Потому что в «Карусели» у нас был такой номер с незапамятных времен, и во что бы то ни стало – хотел бы я сейчас иметь тогдашние заботы! – у меня на фраке должен был торчать белый цветок. Почему я не могу там работать?

Или в ортопедии – вырезать искусственные ноги? Здесь их делают лучше, чем мы тогда получали в доме калек. Просто шедевры. Только делают слишком долго. Пока изготовят протез, прилегающее к нему тело давно уже в Освенциме.

Или сельхозработы. Где, по крайней мере, ты выходишь за пределы этих стен. Даже если от тех овощей, которые выращиваются, сам ты никогда не получишь ни ломтика.

Где угодно. Все равно где. Почему я не могу иметь рабочее место, как все остальные?

Потому что у меня обе руки – левые, вот почему. Неверно сконструированный ум. Потому что я ничего не умею, кроме театра и кино.

Потому что я творожья башка.

Снаружи ни звука. Как будто депортировали весь город и забыли только меня одного. Который же теперь час?

Ни у кого из нас нет часов. У кого их не украли, тот их выменял. Одни часы – две картофелины. Если часы золотые, то иногда и три. Не лучшая цена, но часами сыт не будешь. А здесь они не нужны. Когда тебе говорят, что делать, то скажут и когда.

Делать ли мне то, что говорят?

Вот что я должен выяснить о себе. Достаточно ли я смел, чтобы сказать *нет*. Достаточно ли глуп, чтобы быть смелым. Я должен думать. А не валяться, наслаждаясь воспоминаниями.

– Ты в кино, – говорит Ольга, когда я снова погружаюсь в свои мысли. Мы женаты двадцать лет, и у нас есть наш собственный язык. Если мы ссоримся – нет, не ссоримся, к этому у Ольги нет никаких способностей, – если мы дискутируем между собой, нам хватает ключевых слов. Мы прогоняем наши разборки, словно текст пьесы перед возобновлением спектакля. Отвечаем и на те реплики, которые другой даже не произнес.

«Ты в кино» – это означает: «Ты увливаешься от действительности». Пока я сижу в «Зимнем саду», нет никакого Рама. Если мне, невзирая на это, все равно страшно, дедушка рядом, и я в любой момент могу взять его за руку.

Хотел бы я всегда быть в «Зимнем саду».

Петер Лорре, который впрыскивает себе морфий, а если не помогает, то и кое-что другое, однажды объяснил мне: «Без плотной шторы слишком яркий свет». Это было в его комнате в парижском отеле, в притоне, где у него не было даже стула, чтобы повесить одежду. Теперь он в Америке и каждый день ест бифштекс с луком.

Маленьким мальчиком я натягивал себе на голову одеяло, чтобы черный человек ничего не смог мне сделать. Покуда ты ребенок, это помогает.

Я больше не ребенок. Мне сорок семь лет. Я старик.

Наша юность закончилась летом 1914 года. После этого уже больше не было того мира, в котором можно чувствовать себя юным. Они сделали из нас взрослых, как из коровы делают колбасу.

Начиналось со всеобщего ликования. Военные капеллы с их бунчуками работали сверхурочно. В дулах ружей торчали цветы. И погода подыгрывала. Солнце светило с неба каждый день, чтобы девушки, встречающие победителей почестями, могли надевать свои благоуханные белые платья. В те дни было много почестей.

– Чести все больше, а честных девушек все меньше, – сказал Калле. Где-то он подхватил это выражение.

Мой отец, заклятый скептик, вдруг стал патриотом. «В конце концов, мы же в первую очередь немцы», – стало его новым девизом. Он купил себе географическую карту, чтобы отмечать на ней цветными булавками продвижение фронта. Я вообще впервые в жизни стал свидетелем громкой разборки между родителями. Речь шла о военном займе и о сумме, на которую он подписался. На слишком большую, как окажется позже. В бухгалтерских книгах фирмы «Герсон & С^о» после этого он несколько лет так и тащил долги, которые сделал тогда благодаря этому займу. Пока его не избавила от них инфляция.

Война началась во время летних каникул. Мир, для которого нам давали образование, для которого нам забивали головы тригонометрическими функциями и латинскими вокабулами, перестал существовать. Только этого никто пока не заметил. И мы – спустя несколько недель – снова исправно сидели за прежними школьными партами. Теперь уже в выпускном классе. Большинство моих одноклассников уже брились. Внешне мало что изменилось. Только во дворе гимназии каждый день поднимался флаг. Физику стал преподавать старый господин, которого сорвали с пенсионного покоя. А прежний, наш д-р Беллингер, был лейтенантом запаса и *подлежал полям сражений*. Формулировка, которая казалась нам абсурдной до тех пор, пока мы на собственной шкуре не узнали, как быстро отвыкаешь от вертикаль-

ного положения на войне. На уроках истории можно было избежать сухого заучивания дат, задавая патриотические вопросы к текущим известиям с фронта. На уроках немецкого языка мы больше не читали наизусть баллады Шиллера, а декламировали совсем другие стихи.

Я декламировал. Я был, даже не зная тогда таких слов, рамповым выскочкой. Стоило мне только дорваться до авансены и начать эффектно разливаясь перед публикой соло-вьем, о тексте я мог не задумываться. В наказание моя проклятая память не дает мне забыть слова и по сей день. «Ненависть к водам и ненависть к земле, ненависть ума и ненависть руки, ненависть молота и ненависть короны, ненависть, душащая семьдесят миллионов. Мы любим сообща, мы ненавидим сообща, у нас у всех единый враг...» И потом весь класс хором: «Англия!»³ Вот таким дерьмом тогда можно было заслужить орден Красного орла.

В то время как вся Европа вокруг впала в безумие, мы играли в школьные будни. Но оставалось уже недолго. Осенью – не позднее октября – д-р Крамм созвал выпускников в актовый зал. Наш класс не заполнил и двух первых рядов, но ему казалось, что соразмерной тому, что он собирается нам сказать, могла быть лишь большая сцена.

Он встал перед нами, откашлялся и разгладил бороду. Он и впрямь делал эти дешевые театральные жесты, которыми актеры в амплуа отцов еще в придворных театрах сто лет назад имели обыкновение сигнализировать публике: внимание, сейчас будет нечто важное! Затем он простер руки, будто желая благословить нас, и торжественно произнес:

– Мальчики!

Уже одно это должно было вызвать отторжение и недоверие. Но нам не хватало жизненного опыта, чтобы знать: начальство прибегает к доверительным словам всякий раз, как замышляет против тебя какую-нибудь гадость. Если старший лейтенант Баккес говорил «Камрады» – значит, он набирал добровольцев в команду самоубийц.

– Мальчики, – сказал д-р Крамм, – у меня для вас хорошая новость.

Хорошая новость состояла в предложении досрочно сдать выпускные экзамены. «Перед лицом великих времен, в которые мы живем». *Времена*. Во множественном числе. Наша эпоха настолько превосходила натуральную величину, что простого *времени* было недостаточно.

«Уже через две недели, – сказал д-р Крамм, – мы сможем получить аттестат зрелости. При условии – он, дескать, не имеет ни малейшего сомнения, что его мальчики жаждут этого счастья всей душой, – при условии, что мы сразу же добровольно поступим на военную службу. Ввиду великих времен.

Война только началась, а им уже не хватало мяса для их колбасной машины. Первые боины – *бойни*, какое поневоле честное мясницкое словцо! – израсходовали гораздо больше людского материала, чем ожидалось. Требовалось пополнение. Поскольку добровольцы уже не толкались, как в первые дни войны, в очереди на смерть, для нашего года рождения придумали экстренные выпускные экзамены. Тоже слово, невольно выдающее правду. В официальных сообщениях экстренность нигде не поминалась. Ведь мы всегда только побеждали.

Наш первый ученик, обычно добродушный и не склонный к юмору, объяснил нам это слово так:

– Вы должны делать ударение не на первом слоге, *Nótabitur*, а на третьем: *Notabitur*. Поскольку это латынь. От глагола *notare*, «отмечать». *Futur I*, третье лицо, *Indikativ passiv*. «Он будет отмечен». И чем именно? Униформой.

Их отпрыск – солдат? Для моих родителей это было невыносимо. Они пытались всеми средствами отговорить меня от этой затеи. Мама вдруг забыла о женской подчиненности,

³ Автор стихов Эрнст Лиссауэр.

которой ее научили в пансионе, уперла руки в бока – жест, который я видел у нее впервые, – и заявила:

– Если ты не переубедишь его, Макс, ты никудышный отец.

Папе пришлось как-то изворачиваться в логике, чтобы тревогу за меня согласовать со своим недавно открывшимся патриотизмом.

– Ты еще слишком молод, – аргументировал он. – Погоди хотя бы, покуда тебе не исполнится восемнадцать.

Как будто число дней рождения делало человека более или менее способным получить осколок гранаты в живот. В мире логики вообще лучше всего было бы посылать на войну детей. У них меньше площадь попадания.

В семьях моих одноклассников шли такие же дебаты. Даже там, где с объявлением войны патриотизм прорезался в своей самой ядовитой форме. С каким бы воодушевлением кто бы ни кричал «ура!», дух самопожертвования быстро ослабевает, когда дело касается собственных сыновей. Самые ярые крикуны, как я убедился на фронте, отсиживаются на самых тепленьких местах.

В конце концов мы все заявили о своей готовности служить отечеству *отвагой и кровью*. Единогласно, по-идиотски добровольно. Почти семь лет мы провели в гимназии и были благодаря этому – если верить д-ру Крамму – «духовной элитой немецкой молодежи», но о войне мы имели совершенно детское представление – по оловянным солдатикам. Режущие знамена и звучные трубы. По песням «У меня был товарищ» и «Хоенфридбергский марш». Кроме того – и этим можно объяснить почти все, что с тех пор происходило в Германии, – кроме того, никто не хотел быть тем единственным, кто отказался.

За одним исключением. Калле с его больными легкими даже не мыслился на *почетной службе в сером мундире*, как немыслимы были выпускные экзамены при его слабой успеваемости, будь они хоть трижды экстренные. Для всего нашего класса это само собой разумелось, но д-р Крамм, *хитроумный* и избилующий своими списками, видел, что от этого страдает безупречность статистики, за которую он ожидал хвалебную запись в своем личном деле, а то и орден.

– Записывайся спокойно, – уговаривал он Калле. – Твоя добрая воля тебе зачтется, хотя ты, разумеется, и не годен.

Эту самую «годность» могла выдумать только совсем больная голова. Какой мясник станет совать в колбасную машину лучшее мясо? Как будто ногой с плоскостопием нельзя наступить на мину.

Извращенную форму критерия годности я видел в больнице Вестерборка. С температурой до сорока градусов человека можно было включать в списки на депортацию. Начиная с сорока и одной десятой он считался уже недостойным этой привилегии.

Итак, Калле записался добровольцем на военную службу. Что и сам он находил комичным. Когда кто-то сказал: «Да он один своим кашлем обратит в бегство роту противника», – он смеялся и кашлял так, будто хотел подтвердить эту скверную шутку.

А его и впрямь загребли на фронт. Не воевать с оружием в руках – для этого они все-таки были слишком придирчивы, но ведь были еще и тыловые службы. Калле прикомандировали к полевой кухне. И он криво усмеялся над тем, что будет стрелять во французов из гуляшной пушки, как называли на войне полевую кухню.

Но до этого пока не дошло. Вначале были экстренные выпускные экзамены.

Экзамены оказались шуткой. Подмигивающим ритуалом, который никто не принимал всерьез. Как если бы Папа Римский вместо того, чтобы торжественно поднести вино для причастия, по-приятельски пригласил всех собравшихся вместе выпить.

Все мы – и экзаменаторы, и экзаменуемые – были заодно. Страх перед ужасным выпускным сочинением наш учитель немецкого языка пригасил еще на консультации, проболтавшись, что хотя тема сочинения и строго засекречена и он нам ни в коем случае не может ее выдать, но мы с нею справимся, в этом он уверен, да и мы сами – это, дескать, видно по нашим лицам – тоже в этом не сомневаемся. И потом, яснее ясного и в стиле интригана из любительского театра: «Мне ли не знать моих паппенхаймеров». Два раза повторил: «Паппенхаймеров!» После чего мы все побежали по домам и еще раз перечитали «Валленштейна».

Можно было этого и не делать. Тема называлась «В твоей груди – звезды твоей судьбы» – *прокомментируйте это!* – и для хорошей оценки было вполне достаточно притянуть эту фразу к нам самим как к будущим солдатам и заполнить пару страниц героической болтовней.

На устном экзамене по математике у меня со всей серьезностью спросили теорему Пифагора. Материал из второго класса гимназии. По географии мы должны были показать на карте Европы те области, которые Германия аннексирует, разумеется после победного окончания войны. Остаток обязательной четверти часа экзаменатор заполнял тем, что козырял воспоминаниями из собственного военного прошлого. Он, как и все, был героем.

И так по всем предметам. Можно было вообще не ходить на экзамены, аттестат зрелости нам все равно прислали бы на дом с рассылным. Но ритуал следовало пройти до конца. Послать целый класс семнадцатилетних мальчишек на войну, загнать их в колбасную машину за кайзера и отечество – это считалось нормальным. Лишь бы при этом не пострадали формальности.

Я часто сталкивался с этим впоследствии. Лейтенант на носилках, требующий, чтобы его приветствовали по всей форме, тогда как из его разверстого живота свисают кишки. Фердинанд Аус дер Фюнтен, деликатно ступающий за сценой на цыпочках, явившись конфисковать весь театр. Премьеры здесь, в Терезине, с их традиционным плевком через плечо и заклинанием «тьфу-тьфу, не сглазить!», как будто нам тут не грозит ничего хуже, чем провальное представление. До тех пор, пока соблюдаются формальности – в этом мы снова и снова себя убеждаем, – мир еще не совсем сорвался с катушек.

Экзамены выдержали все. Даже Калле, который уже просто не мог перестать смеяться. Не знаю, то ли его провели через экзамены из жалости, то ли из патриотизма, то ли потому, что в очередной ведомости нашего директора старших классов получалось так красиво: «Экстренный выпуск 1914 года, на сто процентов выдержавший выпускные экзамены, на сто процентов записавшийся добровольцами на военную службу». С добавлением четыре года спустя: «Шестьдесят процентов – ранены или пали на поле боя».

Мои родители тоже не так скоро смогли освободиться от дедовских формальностей. Сданные выпускные, как того требовала традиция, следовало торжественно отпраздновать. И мы отпраздновали, хотя всем нам было не до веселья. Вечером после изобиловавшего приветственными речами вручения аттестатов папа угощал нас ужином у Хорхера на Лютерштрассе. За тем же самым столом, по странному совпадению, за которым годы спустя Макс Рейнхардт предложил мне роль в музыкальной комедии «ФЭА». А тогда мы заказали знаменитого Faisan-de-pressé и пили дорогое баденское вино.

Почему я до сих пор помню, что оно было баденское? Почему запоминаешь такие несущественные детали?

При том, что дорогое вино мы даже и не пили. Большая часть его так и осталась на столе. Мама весь вечер проплакала, а папа пытался делать вид, будто этого не замечает. Он купил мне золотые карманные часы, которые я так никогда и не носил. На фронт я их взять не мог, а потом они казались мне слишком помпезными. Многие годы они пролежали в выдвижном ящике на Клопшток-штрассе, завернутые в шелковую бумагу, а когда мы в спешке поки-

дали Берлин, про них забыли. По всей видимости, теперь Хайтцендорфф сверяет по ним время.

Так обстояли дела с моими выпускными экзаменами. *Пикколомини*, теорема Пифагора – и вот уже я готов для колбасной машины.

Ютербог, где из меня делали солдата. Не стоит об этом и вспоминать.

Обычная муштра. Унтер-офицеры, которые за всю свою карьеру не продвинулись дальше пуговицы с орлом на воротнике и отыгрывались за это на нас. Голоса, сорванные от крика.

Новый язык с новыми словами. Склад амуниции. Кухонный «бык» (ответственный за кухню). Плац для упражнений с оружием ближнего боя. Походное снаряжение, возражения бессмысленны. Новая грамматика. Господин лейтенант, разрешите доложить.

Вообще вся иерархия рангов. Над нами вся эта пирамида, вплоть до фельдмаршала, а под нами совсем никого. Мы были даже не люди, как нам объясняли каждый день, из нас еще только предстояло сделать людей.

– Вы еще спасибо за это скажете, – говорили нам и заставляли ползать на брюхе по грязи.

Кол с офицерским головным убором, перед которым мы должны были тренироваться, отдавая честь. «Эй, отец, взгляни на шляпу там, на штанге», – процитировал один и тут же был приговорен за умничанье проскакать по кругу лягушкой. Лучше было помалкивать о том, что у тебя есть аттестат зрелости.

Униформа, которая болталась на мне, потому что я был слишком тощий. Высказывания, которые мне по этому поводу приходилось выслушивать.

– Тебе, Герсон, лучше служить подпоркой для гороха, чем солдатом. Но для такого ответственного дела тебе, видать, не хватило ума.

Эта чеканная манера речи, которая хотела казаться молодцеватой, но выглядела лишь смешной.

Серый мундир с никелевыми пуговицами. Излюбленная шутка для новобранцев состояла в том, что их заставляли полировать до блеска пуговицы с тисненой короной, «чтобы блестели, как смазанная маслом детская попка». Пуговицы были матированы струей песка, и никакая полировка не могла довести их до блеска. Ха-ха-ха.

Эрзац-шлем из фетра, потому что с поставками кожаных шлемов не поспевали.

Наши обритые черепа, как в первый учебный день в гимназии.

Вообще все в целом как злая карикатура на школу. Когда мы в школе однажды пожаловались нашему учителю истории, что к экзамену приходится зубрить слишком много дат, он ответил:

– Учебный план должен быть отработан. Без оглядки на потери.

Точно так же поступали в Ютербоге. С реальностью войны программа нашей подготовки не имела ничего общего. Но ее на нас отрабатывали. Без оглядки на потери.

Мы учились маршировать. Упражнялись каждый день в составе самых разных формирований. Разбирали и снова собирали ружье по сто раз. Когда мы уже могли делать это вслепую, ружья у нас забрали – для следующей партии свежего мяса, а мы получили – перед самой отправкой на фронт – совсем другую модель. Винтовки-98, с которой мы отправились на войну, им было жалко для упражнений. Однажды нас погнали на доклад, и старый майор читал нам наставления, как вести себя, если на нас нападут уланы с пиками.

И не было ни слова о вещах, которые действительно могли пригодиться. Как зарываться саперной лопаткой в мокрую землю. Если при этом натыкаешься на труп, тебя это не должно смущать. Почему человеку с простреленным животом нельзя давать пить. Как давить вшей. Про это ни слова.

Зато тысяча предписаний, которым надо следовать слепо. Как скатывать шинель. Через какое плечо вешать котомку с хлебом. И, разумеется, решающим на войне было то, чтобы край сложенного шерстяного одеяла шел строго параллельно краю кровати.

Нары. Всегда двухъярусные. Одна из немногих полезных вещей, которые я вынес из Ютербога: лучше занимать нижнюю койку.

Спать в одном помещении с сотней других, где всегда кто-нибудь то храпит, то пердит, – для меня это было хуже всего. Будучи единственным ребенком, я не привык к такому избытку чужого присутствия.

И потом, естественно, истории про баб, которые рассказывают в темноте. Сальные шуточки. Не хочешь их слышать, но они все равно возбуждают. Мы, гимназисты, умели спрягать латинские глаголы, но о женщинах не имели никакого понятия. В отличие от рекрутов из деревни, уж те знали в этом толк. Или, по крайней мере, делали вид. *У госпожи хозяйки повар был, который во все дырки ее долбил.*

Не стоит вспоминать об этом.

Нет, все же стоит.

Без фельдфебеля Кнобелоха мы бы туда не сходили. Не посмели бы. Во всяком случае, мы, благовоспитанные городские мальчишки. Мы бы лишь снова и снова перешептывались об этом, а позднее однажды – может быть, в уборной, где не надо смотреть друг другу в лицо, – утверждали бы:

– Ну ясное дело, я там уже был. Ничего особенного.

Но особенное было. Центральная составная часть того обетованного и угрожающего становления мужчиной, вокруг которой в Ютербоге вертелось все. Мы обучились отдавать честь, стрелять и маршировать. Бросали гранаты или хотя бы их муляжи. Нас научили разматывать колючую проволоку. Мы выдержали даже двадцатикилометровый марш-бросок в полной походной экипировке. Теперь не хватало только одного. И об этом позаботился Кнобелох.

Фельдфебель Фридеманн Кнобелох. Он мог бы обойтись без этого барочного «Фридеманн», а также без этого странного «е» в середине «Кнобелоха». Я бы все равно не забыл его имени. Из-за одной этой ночи.

Кнобелох. Реликт. Представитель совсем старой школы. Уже вечной. Служил еще в колониальных войсках в Германской Юго-Западной Африке и как-то умудрился, не знаю как, через все эти годы пронести романтическое представление о товариществе и братстве настоящих мужчин. Он хотел, чтобы мы – кого он двенадцать недель гонял по учебному плацу – любили его, и не понимал, почему его так назойливо навязываемая дружба – «Вы спокойно могли бы называть меня Пикой⁴, для меня это почетное звание» – не встречала отклика с нашей стороны. «Пика – это мать роты», – говорил он, но мы не были ротой, какие он видел раньше или какие навоображал себе впоследствии. С нами он не мог бы идти в огонь и в воду, как он себе это представлял в своем фольклорном легковерии. Мы не были его камрадами. Лишь безымянное овечье стадо военных добровольцев, а он баран-вожак, который должен привести нас на бойню. Когда поезда уходили на фронт, он оставался в безопасном Ютербоге и принимал следующее стадо. Чтобы и им предлагать свою дружбу. Он хотел быть нашим приятелем, а должен был всего лишь научить нас, как идти строем под нож.

Будучи романтиком войны, Кнобелох любил военные традиции. В гвардейском полку он мог бы наизусть перечислить все его битвы вплоть до Тридцатилетней войны. Но военная бюрократия направила его во внеисторическую учебную роту, четыре раза в году – новые

⁴ «Фельдфебель» на военном жаргоне.

лица. Позднее, когда колбасная машина заработала быстрее, они наверняка стали меняться еще чаще. Итак, он изобрел собственную традицию, самоуправно ввел личное служебное предписание, которое вскоре стало такой же обязательной частью основного обучения, как торжественное принесение присяги. При том, что присяга – по крайней мере, у нас – была вовсе не так торжественна, а отмазывалась как тридцатое абонементное представление скучной пьесы. Клянусь, торжественно обещаю, ура вашему величеству и – прочь со сцены.

Раз в четыре недели в Ютербог поступала новая партия рекрутов. В таком же ритме уходили поезда, увозя на фронт очередную партию свежеприсягнувших молодых солдат. Так мы уже дважды были свидетелями ритуала принятия присяги еще до своей собственной – в качестве статистов, в чью задачу входит только занимать место, и нас строго предупреждали, чтобы мы про себя не повторяли слова присяги, которой еще недостойны.

Мы уже знали, что после церемонии дается отпуск до подъема, и что это является подстрекательством к тому, чтобы напиться до бесчувствия. Оба раза мы помогали таскать в поезд проспиртованные трупы, которые были не в состоянии передвигаться самостоятельно. По дороге до Франции или Бельгии они успевали проспаться.

Фельдфебелю Фридеманну Кнобелоху совместная пьянка казалась недостаточной. Это было не настолько по-мужски и по-компанейски, как он живописал себе армейскую жизнь. Поэтому его рота праздновала окончание учебы не в пивной, хотя пивных вокруг учебного плаца было достаточно. А собирались – ровно в двадцать ноль-ноль – перед Яичной башней.

В Ютербоге гордятся средневековым строением с необычным очертанием в плане. Но то, что мы собирались там, у самых Новорыночных ворот, не имело никакой связи с туристическими достопримечательностями. И с тем родом интереса, который можно удовлетворить с помощью путеводаителя фирмы «Бедекер».

Целью, которую мы под командованием фельдфебеля Кнобелоха хотели штурмовать с криками «ура», была не сама башня, а ресторан, который так называли. Чистое заведение, регулярно контролируемое санитарной службой, в двух шагах от Большой улицы. Другими словами: публичный дом. У борделя, собственно, было совсем другое название, какое-то французское, которое я не помню. «Petit Paris» или «Paradis». Что-то в этом роде. Для нас, будущих солдат, это было просто «Яичная башня», кодовое слово, переданное с подмигиванием новичкам от стреляных воробьев, которые пробыли в Ютербоге уже два месяца. Так же, как прозвища учителей передаются от одного поколения школьников к другому.

Нам всем было всего по семнадцать, возраст, когда гормоны играют как безумные. Когда ни одной ночи не можешь удержать руки в покое под одеялом. Представление о посещении борделя вселяло в меня больше страха, чем вся война. И обещало, с другой стороны, приключение, которое я ни за что на свете не согласился бы пропустить. Не имея при этом ни малейшего представления, в чем – конкретно – оно будет состоять. На ключевое понятие «половое сношение» «Энциклопедический словарь Майера» оказался в свое время не особо содержательным.

Некоторые из моих товарищей имели опыт, относящийся к делу, или хотя бы утверждали, что имеют. Я тоже нещадно врал. Было слишком стыдно признаться, что я, абитуриент и в скором времени участник войны, даже не имею представления о женском теле. В целом, а не то что в деталях. На уроках по искусству мы изучали гипсовые копии греческих статуй, но решающие места всегда были прикрыты. Игра в прятки, которую устраивали только для действительно решающих мест. Дома у Калле в гостиной висела копия «Большой одалиски» Энгра, однако вид ее обнаженной спины тоже не помогал нам в обнаружении фактов женской телесности.

Позднее, в основном курсе анатомии, ассистент прибег к той же самой картине, чтобы по ней обучить нас, начинающих, медицинской наблюдательности.

– Разве не бросается в глаза, – спрашивал он, – что художник пририсовал этой даме как минимум три лишних позвонка?

Мне это и тогда не бросилось в глаза, и в семнадцать совсем не бросалось. Я обращал внимание на нечто другое, чем длина спинной части.

Разумеется, фантазия у меня была, как раз на эту тему. Даже госпожа Хайтцендорфф, которая отнюдь не была красавицей, могла меня возбудить, когда мыла дома холл, ползая на коленках и повернувшись ко всему миру задницей. Но для процесса в целом недостаточно было бы и самой лучшей фантазии.

Гостиная, где женщины поджидали нас, представляла собой смесь провинциального полусвета и буржуазного резного дуба. Тяжелая мебель, которая могла бы стоять и в Берлине, но и в Криште тоже. Но вот на картинах, висевших на стенах, одалиски не поворачивались к зрителю спиной, а там, где сатир сталкивался с нимфой, дело не ограничивалось игрой на флейте. Это было, как я потом всегда говорил, как если бы Георг Гросс иллюстрировал анатомический атлас.

Атмосфера носила какой-то отпечаток неряшливости, какая царит на пробах перераспределения ролей. Дамы этого дома уже слишком много раз давали этот спектакль. И уже только намеками маркировали гнусность, предусмотренную в тексте. Мы, новички, старались прежде всего избежать ошибки. Актеры-ученики, которые не хотят опозориться перед профессионалами.

Теперь и не вспомнить, как была урегулирована коммерческая сторона вопроса. Но до сих пор помню запах сигаретного дыма и тяжелые пачули. И еще слышу песню, которая дребезжала из раструба граммофона. Она называлась «Паулина идет танцевать». И я до сих пор у меня перед глазами стоит она.

Она.

Не красавица, вот уж нет. По-настоящему красивые женщины не работают в «Petit Paris» в Ютербоге, где военных обслуживают с интервалом в четверть часа. Я выделил ее из всех, потому что в ней чувствовалась какая-то робость. Как будто ее занесло в эту гостиную по недоразумению и она понятия не имеет, чего от нее ждет эта с шумом ввалившаяся толпа. В ее лице было что-то от мышки. Мелкие, выступающие вперед зубки. Волосы, завитые как-то нерешительно. Будто они собирались стать локонами, но из чистой пугливости на полпути передумали. Серьга у нее была только одна, невозможно большой ком чего-то блестящего, который даже не делал попытки казаться драгоценностью. Мочка другого уха была красной и воспаленной. Должно быть, она проколола уши совсем недавно, и иголка не была продезинфицирована.

Нет, красавицей она не была. У нее были влажные глаза, потому что она плакала, или потому, что не переносила табачного дыма, или потому, что мне все это только примерещилось. Она и сама курила, держа сигарету меж двух пальцев, но так неумело, показалось мне, будто она делала это в первый раз.

На ней была черная комбинация. На правом плече к бретельке была пришита красная розетка, по контрасту с которой голая рука и заметно выступающая ключица казались еще бледнее. Узкая полоска кружев, окаймлявшая верх комбинации, в одном месте отпоролась и образовала – я вижу это снятым крупным планом – что-то вроде петли, в которую можно было бы просунуть согнутый указательный палец, чтобы притянуть девушку к себе.

Под тонкой тканью обозначились две маленькие крепкие грудки. Не гранаты и не дыни, о которых так хвастливо болтали в тех ночных разговорах на казарменных нарах. Каждая поместилась бы в ладони. Ее комбинация кончалась чуть выше колен. Она сидела закинув ногу на ногу. Тоненькие девичьи ножки. Ступни в шлепанцах с непропорционально толстой

стелькой. Как будто она хотела сказать: «Я делаю то, что от меня требуется, но не собираюсь при этом мерзнуть».

Должно быть, я долго таращился на нее, но она не отвечала на мой взгляд. Вообще никого не видела, а смотрела в пустоту, не то чтобы скучая, а – так я себе это истолковал – мыслями совсем в другом месте, в какой-то собственной мечте, в которой, быть может, нет Ютербога, а есть какой-нибудь Самарканд или другое поэтическое место. Мне было всего семнадцать.

С каким удовольствием я обнял бы ее за худенькие плечи и защитил от всего зла этого мира! И при этом все-таки расписывал себе, как она стояла бы передо мной и очень, очень медленно стягивала с себя через голову комбинацию. Или, я в этом не разбирался, только спустила бы бретельки и блестящая ткань соскользнула бы по бедрам вниз?

Сегодня я, конечно, знаю, что привлекло меня в ней: кажущаяся беспомощность. Потому что соответствовала моей собственной застенчивости и робости. Из всех женщин, что сидели здесь, она была наименее опасной. Но тогда я принимал чувство, что переливалось у меня через край, за романтику.

Мне она не досталась. Когда я наконец собрал волю в кулак, чтобы приблизиться к ней, меня опередил другой из нашей роты, один из деревенских, у него было меньше пубертатной скованности. Он уже стоял перед ней, широко расставив ноги, руки в карманах. Разглядывал ее испытующе, точно лошадь, предложенную ему на ярмарке для покупки. Потом пожал плечами – что делать, не так уж и дорого – и мотнул ей головой в сторону двери. Она отложила сигарету и встала. Не элегантно, а упершись обеими руками в подлокотники кресла. Как встает старая женщина с усталыми ногами. Пошла вслед за ним. Ее комбинация помялась от сидения, и толстые шлепанцы шаркали по полу. Потом она скрылась за дверью.

Естественно, я мог бы подождать, когда она освободится. Ждать пришлось бы недолго. Но я не хотел. Это и жалко, и смешно, но тогда я так это ощущал: если я в этот вечер не могу быть у нее первым, то она уже недостаточно девственна для меня.

Предоставленный сам себе, я забился в угол салона и предался мировой скорби. Упивался своим разочарованием. В семнадцать лет меланхолия ужасно привлекательна. Хотя поза юного Вертера плоховато гармонирует с ютербогским солдатским борделем. Но упиться до конца мне не удалось. Фридеманн Кнобелох, который чувствовал себя ответственным не только за наше обучение, но и за наше веселое времяпрепровождение, заметил мое промедление. Он еще со времен восстания племени гереро знал, как избавить молодых пехотинцев от страха перед боевым крещением. Или хотя бы привести их к тому, чтобы они вопреки страху ринулись под пули противника. Итак, он встал передо мной так близко, что наши головы почти соприкасались. Подбоченившись, что без униформы выглядело как-то смешно. Но его хриплый голос даже и в гражданской одежде воспроизводил приказной тон, на который мы были натасканы за двенадцать недель.

– Что такое, что такое? – пролаял Кнобелох. – Усталостью не отговариваться! Немецкий солдат не знает страха! – И потом, резко сменив приказной тон на товарищеский: – Как я тебя понимаю, парень. Мне самому в первый раз было так же. Но я уже подыскал тебе то что надо. Комната пять. – И снова без перехода рявкнул: – Отделение Гersona, нале-во, шагом марш!

Меня не огорчило, что он взял решение на себя. Подозреваю, что не огорчило. Но не могу утверждать это с уверенностью. Я так часто прокручивал события той ночи у себя в голове, сам себе показывая этот фильм и вылизывая до последней капли каждый отдельный момент, что давно уже не знаю, что в нем истинное воспоминание, а что со временем дополнилось мечтами, желаниями и страхами. Наша память полна замененных деталей.

В некоторых вещах я не полагаюсь на воспоминания. Правда ли мне на лестнице повстречался мой камрад с незастегнутыми штанами? И правда ли его член болтался на виду? Правда ли он был еще влажным и блестел в мерцающем свете газового фонаря? Или эта картинка совсем из другого места и времени? В первые годы после войны, когда вместе со старым порядком внезапно исчезли и старые правила, в Берлине часто можно было увидеть сцены, которые лучше подошли бы для «Сатирикона».

И потом: тесный холл на верхнем этаже. Действительно ли на дверях стояли номера комнат, как в отеле? С какой бы стати? Но как бы иначе я нашел нужную дверь? Комнату, где меня ждала женщина, которую для меня организовал мой фельдфебель.

Комната пять.

Немецкий солдат не знает страха.

Я постучался. Негромко. Так, как меня научила мама.

– Да? – отозвался голос. Он был – тут я снова доверяю памяти – ниже, чем я ожидал. Какое-то мгновение я испуганно думал: должно быть, я не в ту комнату. Или мой предшественник еще не управился. И то и другое было для меня одинаково мучительно. – Да входи же! – позвала она.

Дверь не могла скрипеть, когда я стал робко ее открывать. Совершенно уверен, с этим звуковым эффектом моя память обманывает меня. Тут в воспоминания прорвалось профессиональное клише. «Мой брат создает звуковые эффекты в кино». Так я пел на пластинке.

Нет, дверь не скрипела. Даже если мне чудится, что я все еще слышу этот звук. Но то, что последовало затем, было в точности так, как я это запомнил. По-другому и быть не могло.

Ее кимоно было желто-зеленым, с огнедышащим драконом на спине. Второй сорт, сказал бы папа. И кимоно, и женщина. Светлые волосы, которым холодная завивка придавала неестественную форму.

Когда я вошел, она стояла у окна и медленно повернулась ко мне. Она жевала. Во время трудной смены не грех и подкрепиться между делом.

Она была ростом почти ровень со мной. Сильная фигура с широким тазом. Выправка вообще не дамская. Так мог бы стоять матрос. Или крестьянин.

К тому же она была старше, чем я ожидал. Оглядываясь назад, я дал бы ей лет под тридцать. Из перспективы моих семнадцати разрыв между нами был огромным.

– Добрый день, – сказал я и, как мне помнится, даже отвесил смешной поклон. Разумеется, эти вежливые формы обхождения были здесь совсем неуместны, но я понятия не имел, как следует себя вести. В моих фантазиях мы всегда немедленно приступали к делу.

Она испытующе глядела на меня, слегка склонив голову набок. Поскребла указательным пальцем щеку. Частицы пудры мелкой пылью осыпались на пол.

– Первый раз, – сказала она. Это не было вопросом.

Я кивнул.

И она сплюнула. Нет, не из презрения к неопытному новичку, как я подумал в первый момент растерянности, а совершенно естественно. Там стоял сосуд из латуни, который я принял за цветочную вазу, в него-то она и сплюнула точным попаданием. Дважды и потом еще третий раз. Потом провела рукой по губам и вытерла руку о свое кимоно.

– Если я курю, то кашляю, – сказала она. – Поэтому предпочитаю жевать табак.

– Это, конечно, разумнее, – вежливо ответил я, хотя я бы предпочел, чтобы она курила.

– Давай?

Она распахнула кимоно, но еще не сбросила его с себя, а сперва показала – совершенно по-деловому, – что она может предложить. Купец, который поднимает жалюзи со своей витрины. Под желто-зеленой накидкой она носила корсет, который подпирал ее груди, большие груди, которые, однако, не были прекрасными полушариями, как у греческих статуй на уро-

ках искусства, а были немного продолговатыми, с широкими коричневыми пятнами вокруг сосков.

Внизу, где корсет заканчивался, был треугольник курчавых волос. Не белокурых.

Коренастые ноги.

– Ну? – сказала она. – Хочешь остаться в брюках? Тогда будут некоторые трудности.

Я отвернулся от нее перед тем, как раздеться. Одежду я аккуратно сложил на стуле. Не ради порядка, а чтобы оттянуть время. Мне пришлось расстегивать пуговицы на подштанниках, чего я обычно никогда не делал. Иначе бы я не смог спустить их через мой возбужденный член.

Теперь она лежала без корсета на кровати. Справа внизу на животе у нее был шрам, который моя воспаленная фантазия тотчас истолковала как последствие разборки в среде красных фонарей. Сегодня я, конечно, знаю: *аппендэктомия*, удаление отростка слепой кишки. Кисетный шов. Совершенно неромантично.

Я подошел к кровати и лег рядом с ней. От нее пахло ядровым мылом, как от служанки в воскресный день. Она притянула меня к себе, на себя. Мой неопытный орган неловко искал нужное отверстие. Но еще до того, как я смог справиться с этой задачей, семя излилось из меня на ее живот.

Я и по сей день благодарен ей, что она не высмеяла меня за эту неловкость. Я был не первым новичком, которого к ней посылали.

После этого она стояла, расставив ноги, над тазиком и подмывалась. То, что мне можно было лежать в постели и смотреть на нее, я расценил как особый подарок.

Вернувшись в гостиную, я так же нагло (без зазрения совести) наврал про свое приключение, как и все остальные. *У госпожи хозяйки повар был.*

Это и была она. Ночь ночей. Каждый отдельный ее момент бесконечно дорог для меня. Драгоценный и незабываемый.

Десять минут в публичном доме Ютербога – это все, что у меня есть.

Я и сегодня живу в борделе. Из сценария фильма я бы эту деталь вычеркнул. Действительность перегибает палку.

Здесь, в Терезине, за любовь никто не платит. Штернберг всегда называл это «*Liebe-Machen*», на своем американизированном венском. Здесь ни у кого нет денег. Кроме гетто-валюты, конечно, которой и задницу не подотрешь. Кому все же удалось протащить пару настоящих банкнот, в пудренице или в двойной подметке, тот инвестирует их в более важные вещи. В картошку или кусок хлеба.

Любовь достается бесплатно. Если можно назвать любовью быстрое телесное облегчение. Меня это никак не касается, но я вижу это на каждом углу. Встречаются, смотрят друг на друга, кивают. Не слишком длинная ария объяснения в чувствах. Это должно происходить быстро. Никто не знает, как долго он еще будет иметь возможность для этого. Молодые люди – не только молодые – торопливы так же, как мы тогда в Ютербоге. Еще торопливее. Мы-то всего лишь уезжали на войну.

Здесь можно увидеть престранные парочки. Секретарша из совета старейшин – ее называют черной паучихой – коллекционирует молодых мужчин. Позволяет им ухаживать за собой. Привлекает обещанием уберечь от включения в список на транспорт. Не могу себе представить, чем ее поклонники должны расплачиваться за подобное одолжение. Женщине минимум шестьдесят. Больше. Высасывает своих юных жиголо и потом бросает. Вносит в список и выискивает себе следующего.

Как-то раз один человек чуть не зарезал свою жену. В маленьком скверике за детским домом. Из ревности, потому что она изменяла ему с другим. Этого никто не понимал. Убийство понимал, но никак не ревность. Эта эмоция – в этом все были единомышленны – здесь не

имеет больше никакого смысла. Женщина была ранена, но не тяжело. Он не смог раздобыть острый нож. Их потом вместе отправили в транспорт. В сценарии я бы велел написать большую сцену, в которой они примиряются в вагоне для скота. Объятия – и медленное затемнение.

Привыкаешь смотреть на такие истории, как будто это всего лишь истории. Не позволяешь себе сопереживать. Пожалуй, и самих участников они не очень трогают. Как в песне, которую мы горланили в Ютербоге: «Любовь – это забава, для которой нужен член».

Если бы не носить фамилию Геррон.

Найти партнера для быстрой любви легко. Местечко, где можно сделать это без помех, придется искать гораздо дольше.

Последствиями вряд ли кого испугаешь. Непосредственно рядом с нами, в соседней бордельной камерке живет д-р Шпрингер, знаменитый хирург из Франкфурта-на-Одере. Он главный врач медпункта и однажды объяснил мне:

– Скучное питание в лагере имеет и свои преимущества. Рам настаивает на том, чтобы при всякой беременности делать аборт, но у нас с этим мало проблем. При постоянном недоедании у женщин прекращаются менструации.

Надо принимать вещи такими, какие они есть.

Для меня действительность в том, что Рам хочет от меня фильм. Если я его сниму, я потеряю уважение к себе. Если я не сниму...

Расклад такой:

Есть штамп, который ставят в транспортных списках против некоторых имен: «В. Н.» *Возвращение нежелательно*. Списки составляет совет старейшин, но штампом распоряжается СС. Все решает Рам.

«В. Н.» будет стоять не только против моей фамилии, но и против фамилии Ольги. *Родственная ответственность*. Эти красивые старинные слова снова вошли в моду.

Возвращение нежелательно. Моя Ольга.

Если я не сниму фильм или сделаю это не очень хорошо, недостаточно убедительно, мы с ней вместе попадем в один вагон для перевозки скота. В вагон 8/40, которые я знаю еще с войны. 8 лошадей или 40 человек. Вот только набивают туда гораздо больше.

Поезд, который вез нас на войну, шел через Кельн и Брюссель. Когда он окончательно остановился, мы попали в мир, где уже ничто не имело смысла.

Война – это не фильм, где есть начало и конец, а потом снова включается свет – и жизнь идет дальше своим чередом. Война – это обрезки пленки, поднятые с пола монтажной и в случайном порядке склеенные друг с другом, без всякого смысла и драматургии.

В какой-нибудь ленте киностудии УФА самый первый труп, который увидит зритель, определенно не будет раздавленным просто так. Для кино уж выдумали бы что-то поэффектнее. А действительность неряшлива.

Там, куда мы прибыли, вокзала не было. Только рельсы и узкая асфальтовая полоска, которая когда-то служила погрузочной платформой мельницы.

Транспортная компания приготовила два грузовика. Но они ждали не нас, а товарные вагоны, которые прицепили к нашему поезду на промежуточной станции. Ящики с боеприпасами. Нет, они не знали, когда нас заберут. Или мы так уж торопимся быть пристреленными? Но ни в коем случае не пытайтесь укрыться в развалинах мельницы, предупредили они. Даже в случае дождя. Руины могут обрушиться в любой момент.

Рядом с мельницей когда-то был луг. Может, еще летом тут паслись коровы. Сейчас была зима. Глубокие борозды, прорезанные в земле всеми видами колес, смерзлись в каменный карстовый ландшафт. Модель декораций местности, которая ожидала нас среди окопов. Самые глубокие ямы заполнили гравием и из досок построили что-то вроде подъездной

дороги, по которой и уехали теперь грузовики вверх по склону небольшого холма. Когда они скрылись за холмом, ландшафт вдруг совсем опустел.

Мы устроились кто как мог. Наши ранцы не были подушками, а наши шинели не грели. Фельдфебель Кнобелох преподносил как большой прогресс то, что недавно – для облегчения экипировки – их стали производить из более тонкого сукна. Мы расположились на погрузочной платформе. Из-за того что там стало тесно, некоторые из нас переместились на деревянный настил дороги. В том числе и тот, имени которого мне теперь не вспомнить. Наш первый мертвый. В моей памяти не сохранилось от него ничего, кроме большого красного прыща у него на шее.

И потом еще кровавая пена из его рта.

Бортовые грузовики спускались с холма задним ходом. Артистичный маневр, который ввели из-за того, что у разгрузочной платформы негде было развернуться из-за разрытой и смерзшейся земли. Приближающиеся грузовики увидели издали и сошли с дощатого настила. Только он остался лежать. И не реагировал на крики. Должно быть, видел во сне что-то хорошее.

Шофер не мог его видеть, и грузовик переехал его грудную клетку. Мне кажется, что я и сейчас слышу треск ребер. Тот же звук, с которым я потом, когда изучал медицину, так хорошо ознакомился на вскрытиях.

Они погрузили его к нам на один из грузовиков. К счастью, не совсем там, где примостился я. После выгрузки я еще раз увидел его, лежащего, с большим красным прыщом на шее.

Почему этот треклятый прыщ въелся мне в память прочнее, чем кровь?

Запоминаешь только то, что можешь перенести.

– Первый убитый не забывается. Все, что будет потом, перепутается в памяти.

Так предсказывал нам Фридеманн Кнобелох, а он знал в этом толк.

Эпизод с раздавленным новобранцем имел продолжение почти два десятилетия спустя.

Должно быть, то было в 1932 году. Или еще в 31-м. В то время, когда мы в УФА клепали фильмы один за другим. Я тогда готовил к выпуску «Отличную идею», но она что-то плохо продвигалась вперед. Сценаристы Майринг и Цекендорф одновременно с этим работали еще и над «Белым демоном» – проектом, который интересовал их гораздо больше. Соответственно, сценарий, который они мне подсунули, был халтурным. История со множеством перипетий имела столько несостыковок, что впору было начинать с нуля. Но о переносе сроков съемок нечего было и думать. В рабочем плане Вилли Фрича было окно только на эти три недели, а УФА настаивала на том, чтобы главную роль играл именно он. Иначе за что Гугенберг платит ему ежемесячно тридцать тысяч рейхсмарок? Итак, это означало: «Уж как-нибудь справитесь, господин Геррон». При том что я тогда еще делал монтаж «Все будет снова хорошо» и работал по 14 часов в день.

Был там такой тип, журналист или драматург, который нигде официально не задействован, но всегда тут как тут. Как гость, который появляется по любому поводу, и ни один человек не может сказать, кто его сюда пригласил. Его звали Рене Алеман, то есть вообще-то его звали Райнер. В кинобизнесе у всех есть псевдонимы. Про этого Алемана в наших кругах говорили, что он хотя и не хорош, но работает быстро, собственных идей не имеет, но умеет развить чужие. Не знаю, кто ему это поручил, может и не было никакого поручения, но в один прекрасный день он очутился у меня в кабинете – ну да, тот еще кабинет: чулан, который нам, режиссерам, милостиво предоставляли при павильоне, чтобы мы хоть иногда могли там прилечь, – и принес мне рукопись. Переработанный сценарий «Отличной идеи». Совсем неплохой. Самые жуткие прорехи в нем были заштопаны, а там, где ему ничего не

пришло в голову, он просто вписывал «Музыкальный номер – еще не завершен». Что было скверной уловкой, но все же хоть каким-то решением.

Нам срочно нужен был новый сценарий, и теперь он у нас был. Поскольку Алеман был готов работать без упоминания своего имени, авторы ничего не имели против. Там, где сценарий все еще хромал, приходилось полагаться на популярность актеров. С этим у нас все было в порядке. Вилли Фрич был дежурным героем-любовником, крошка Барсони неотразимо мила, а Макс Адальберт отвечал за то, чтобы было над чем посмеяться. Итак, съемки мы начали точно в срок, и фильм потом получился очень хорошим.

Вызывало досаду лишь то, что Алеман повадился являться на студию каждый день. Держался так, будто был моим лучшим другом. Однажды даже принес конфеты пралине для Ольги, причем как раз ее любимые. Понятия не имею, как он об этом проведал. Я не мог его вытолкать, ведь он, в конце концов, действительно участвовал в работе над фильмом. А поскольку я его не выгонял, все остальные думали, что он, должно быть, важная персона для нас. В этом и была суть метода Алемана.

Если бы я уже тогда знал, что это за тип, если бы имел хоть малейшее представление, как он мухлевал на войне и что с ним станет потом, вход для него на студию был бы воспрещен до Судного дня. Я бы позаботился о том, чтобы ни одна собака больше не взяла из его рук куса хлеба. Тогда, до нацистов, у меня были такие возможности.

Но я считал его обыкновенным прилипалой. Докучлив, но безобиден. Немного смешон. Один его вид чего стоил. Эти пиджаки с неестественно широкими подложными плечами. Он мухлевал и с собственным телосложением. Круглые очки, которые он надевал для чтения, но иногда забывал надеть, потому что на самом деле они ему были не нужны. С самым простым обыкновенным стеклом. Хотел придать себе этим умный вид.

Я в своей жизни то и дело совершал ошибки, покупаясь на роли, которые люди играют, и его я тоже долго не мог разглядеть за его ролью. До того самого вечера, когда он у Энны Маенц прибил к нашему актерскому столу и допился до того, что в какой-то момент, против обыкновения, стал искренним.

С нами за столом сидел Тео Герстенберг, коллега, вернувшийся с войны на одной ноге. До 1914 года он переиграл в провинции всех молодых героев, но когда действительно стал героем, его уже нельзя было использовать для Фердинандов и Ромео. Только Тельхайма он еще получил, тот ведь такой же инвалид войны. Я познакомился с ним еще в лазарете в Кольмаре и раздобывал для него где только можно маленькие роли. Он был занят по большей части как ветеран войны, потому что так убедительно хромал. В остальном – что с одной ногой, что с двумя – он был не особенно хороший актер.

Герстенберг был славный парень, но стоило ему подвыпить, он пускался в жалобы, всегда с одним и тем же припевом. Что получил за свою ногу всего лишь значок за ранение, да и тот лишь черный, который цепляют каждому, кто наступил хотя бы на чертежную кнопку, а ведь он при этом заслужил Железный крест как минимум, другие-то получали его за гораздо меньшее.

– За что вы получили ваш, господин Геррон?

И так далее, и так далее. Это была его большая мозоль.

В тот раз он снова завел свою шарманку, и мы все делали вид, что слушаем его. И тут Алеман вдруг и говорит:

– Жаль, что вы были не в моем батальоне. Уж я бы раздобыл для вас побрякушку.

Меня задело, что он сказал «побрякушку», ведь для Герстенберга дело было очень серьезным. Но это было только начало. Алеман выпил больше, чем обычно, и со своей стороны тоже разговорился. Что он больше трех лет провел на войне, но ни одного дня не лежал в окопе. Большую часть времени спал в кровати.

– А все почему, господа? Потому что я умею писать. Потому что у меня есть фантазия. Потому что меня озаряет.

И потом, очень гордый собственной хитростью, поведал о тепленьком местечке, которое раздобыл у своего командира батальона. В канцелярии, откуда каждый день уходили извещения о павших. «Искренне соболезную, но вынужден сообщить Вам, что Ваш сын сегодня пал на поле боя. С патриотическим приветом». Огромное количество писем, и никто не хотел браться за эту работу.

Кроме Алемана.

– Да я бы хоть отхожие места выгребал, – разглагольствовал он. – Лишь бы не под пули.

Итак, он строчил эти письма, а поскольку ему хотелось сохранить за собой местечко как можно дольше, он из кожи вон лез. Для каждого выдумывал отдельный подвиг. Такой, чтобы мать или жена могла гордиться. У него никого не убило просто так и не разорвало гранатой, и уж, конечно, никто не заболел дизентерией и не изошел говном. Нет, все пали как герои – при попытке вытащить из-под огня раненого товарища или во главе штурмовой группы. И, естественно, никому не пришлось долго мучиться, все умирали быстро и безболезненно, успев сказать лишь: «Передайте привет моей горячо любимой жене!»

– То был мой вклад в идею всенародной войны, – сказал Алеман, – а попутно хорошее упражнение для работы в кино. Подписывал письма, конечно, командир. Так ведь и в УФА бывает, что один делает работу, а другой ставит под ней свое имя. Не так ли, господин Геррон?

И потом, из-за Герстенберга и его жалоб об упущенном Железном кресте, Алеман непременно хотел рассказать одну историю. Очень комичную, как он уверял. Про одного совсем молодого солдата, который только что сошел с поезда со своей резервной ротой, прибывшей на пополнение, и грузовик, который должен был забрать эту роту, его задавил.

– Из него я, чтобы утешить семью, сделал такого героя, что его отец потом написал жалобу. С требованием, чтобы его сын посмертно получил орден, который тот в конце концов и получил. Железный крест класса. За отвагу. За то, что попал под машину. Что мог совершить и на Александер-платц. И все из-за одних только моих литературных способностей.

Он рассказал историю в качестве шутки, и кто-то из коллег засмеялся. Герстенберг – нет.

Что касается меня, то я готов был просто убить пустомелю. Не из-за его тогдашней лжи, а из-за того, что он ею гордился.

На шее у задавленного был красный прыщ.

Позднее я потерял Алемана из виду. Только в Голландии я узнал, что он сделал головокружительную карьеру. Не в кино, нет. Он пишет теперь для «Фолькишер Беобахтер». Полные вымыслов статьи о махинациях международного еврейства. С такими красивыми фразами, как «Еврей изнутри трудится над внутренним распадом государства, как червяк внутри яблока». Подписывается он там уже не как Райнер и не как Рене, а в последнее время как Рейнхарт. Он всегда был талантливым приспособленцем.

Только он?

Как я могу его в чем-то упрекать? Презирать? Я-то чем лучше?

Мораль – это роскошь. Очень приятная для людей, которые могут ее себе позволить. Я к их числу не принадлежу. В Терезине роскошь – это кусок хлеба. «Сперва жратва, потом мораль», – заставил нас распевать Брехт. Этот пролетарий-на-палочке – вроде лошадки, – который заказывает у Шлихтера омара и понятия не имеет, что такое голод. Но тут он попал в точку: сперва жратва.

Сперва выжить.

Если снять с себя очки морали и посмотреть на Алемана трезвыми глазами как на результат задачи на счет – что он такого сделал? Пережил войну. Многим этого не удалось. Он переживет и нацистов. Что, пожалуй, вряд ли можно будет сказать обо мне. А затем... Насколько я его знаю, он на всякий случай уже изучает тайком полное собрание сочинений Сталина. Или Черчилля. Скорее всего, обоих. Ведь никогда не знаешь, с кем лучше доедешь.

С волками жить – по-волчьи выть. Петь кантаты тут бессмысленно.

Кто во власти Рама, должен снимать для него фильм.

Завидую я Алеману. Потому что он, в отличие от меня, всегда был достаточно ловок, чтобы сгибать позвоночник. В батальонном штабе писать соболезнуюющие письма. Как не позавидуешь. Мы все в войну мечтали о нише, в которой можно было бы укрыться от пуль. Только были недостаточно изворотливы, чтобы найти такую нишу. Слишком глупы. Или слишком порядочны. Что, в конечном счете, приводит к одному и тому же.

Мертвый герой – тоже всего лишь труп.

Будь Алеман евреем и окажись здесь, в Терезине, для него уже давно нашлось бы место в совете старейшин. Он был бы там просто незаменим. Составлял бы списки на депортацию, а тех, кого туда внесет, утешал бы красивыми словами. Алеманы выживут всегда. Потому что они предпочитают быть живыми, чем нравственными.

Вместо того чтобы его презирать, мне бы лучше брать с него пример. Делать все как он. Райнер Рене Рейнхарт Геррон.

Я научился жить без свободы. Без надежды. Почему, черт побери, мне так тяжело научиться жить еще и без совести?

Ведь от меня не требуют, чтоб я кого-то убил. Я должен всего лишь снять фильм. Что тут такого? Движущиеся картинки. Помотришь и уже через час забудешь. Они уже столько лет производят так много пропагандистских фильмов – ну одним больше, что с того?

Если я сделаю то, что от меня требует Рам, никто не сможет меня упрекнуть. Никто не вызвался бы добровольно отправиться вместо меня ближайшим транспортом в Освенцим.

Я тоже не вызвался, когда моих родителей отправляли в Собибор.

Я сниму этот фильм.

Я не могу это сделать.

Не хочу быть Алеманом. Я не хотел бы сидеть в штабе за столом и обгаживать убитых горем родственников вымышленными подвигами павшего. Потому-то я и был самым обыкновенным солдатом.

Мы были восьмой резервной ротой пополнения, третьего резервного полка пополнения, второй резервной бригады пополнения, двадцать седьмого резервного корпуса четвертой армии. Пополнение, резерв, пополнение. Целиком необстрелянные новобранцы, вернее сказать: пока что целиком. С нами несколько переживших первую окопную зиму. Их подразделения понесли такие потери, что их уже не стоило пополнять.

Эти ветераны были в наших рядах такими же чужими, как заслуженные артисты в спектакле любительского театра. Они избегали контактов с нами, помимо самых необходимых. Какой смысл заводить дружбу с тем, кто, вероятнее всего, скоро уже будет убит?

Ротным был старший лейтенант Баккес – необычное назначение. Лейтенанты и старшие лейтенанты других рот были все как один молоды – двадцать – двадцать один год, – а ему было уже лет сорок пять. Офицер запаса, для которого война разразилась за два года до того, когда ему пришел бы срок быть списанным из армии по возрасту, а так пришлось попасть под призыв в уже тесноватой ему униформе. Потом, как я узнал впоследствии, он и в самом деле был уволен точно в срок – правда, не по возрасту, а потому, что он был уже не в состоянии разнести в пух и прах кого бы то ни было. У него для этого недоставало нижней челюсти после попадания шрапнели.

В гражданской жизни он был служащим муниципалитета маленького городка, откуда вынес непоколебимую веру в предписания и регламент. Небрежное приветствие или не по уставу застегнутый воротничок мундира прямо-таки выводили его – верующего в авторитет – из себя. Для нас это означало постоянную штрафную и дополнительную строевую подготовку. Так что мы даже в так называемые дневки никогда не ведали покоя.

Ветераны иной раз давали ему понять, насколько он им смешон, если это не было для них слишком накладно. Его приказы они исполняли, но нарочито дистанцированным образом. Брехт, этот горе-теоретик, мог бы использовать их в качестве образца для своего театра отчуждения.

Тогда существовало правило, что на фронте, где не имелось мест для содержания под арестом, можно было вместо этого привязывать провинившегося к дереву или к колесу повозки. Два часа на привязи за каждый день ареста. Когда Баккес пригрозил этим наказанием одному из ветеранов – уже не помню за что, – остальные принялись демонстративно и громогласно обсуждать случай с одним офицером, который во время атаки – какая трагедия! – получил по ошибке пулю в затылок из собственных же рядов. После этого их оставили в покое.

При этом Баккес не был трусом. Для страха у него не хватало ума. Во время атаки он не уваливал, как другие офицеры, а всегда был в передних рядах. Так, наверное, рекомендовалось в служебной инструкции.

Местом нашего расположения было Пелькапелле, в восьми километрах от Ипра. В нормальные времена это расстояние можно без усилий пройти за два часа. Но только между двумя этими населенными пунктами издохли ни за что ни про что десятки тысяч человек. Несмотря на это, мы, немцы, Ипр так и не взяли.

Мы, немцы? Никак не получается отвыкнуть от этой привычки! А ведь меня письменно известили, что я больше не принадлежу к их числу.

Пелькапелле было грудой руин. Как будто ребенок смастерил деревню из книжки с вырезными картинками, а потом сокрушил ее молотком. Лучше всего сохранилась церковь. Только верхушку колокольни снесло. Штаб полка располагался в здании – раньше это была ратуша, или школа, или то и другое вместе, – от которого все-таки уцелела половина. А мы, серая скотинка, обжили подвалы. Чем чаще мы выходили на передовую, тем роскошнее они нам казались.

Деревня рядом с нами называлась Лангемарк. Знаменитый Лангемарк. Где патриотические студенты пели «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес», радостно маршируя под пулеметный огонь. Что, естественно, было полной чепухой. С полными штанами не получится маршировать радостно.

Лангемарк.

Сегодня в Германии все стоят навытяжку, когда слышат это слово. Попробуй не встать по стойке «смирно» – и вскоре к тебе придут люди в черных кожаных пальто. Для нас же тогда это не значило ничего.

Единственная география, которая нас интересовала, была география выживания. Где бы спрятаться от вражеского огня. Где найти укрытие. Ближайшая сапа, ближайшее проводочное заграждение. Воронка от гранаты, куда можно залечь.

Лангемарк был нам совершенно безразличен.

Такая же дыра, как и наше Пелькапелле. Дома без крыш. Разгромленная церковь. Школа с пробоинами от прямого попадания. Миф из этого состряпали только потом. Какой-то штабной писарь сэкономил себе на этом отбытие на передовую. Такой Алеман. Можно из любого мертвого сделать героя. Лишь бы не помешали факты.

Произошло это вовсе не в Лангемарке, а дальше к западу, при Бикшуте. Но название местечка звучит недостаточно патриотично по-немецки, если исходить из целей пропаганды. То ли дело *Лангемарк*. В этом есть что-то героическое. А все из-за гласных звуков. Когда мы подыскивали для фильма имя молодому герою, в нем обязательно должно было присутствовать ударное А.

Мы не были героями. Военное воодушевление первых дней из нас выбили еще в Ютербоге. О славе ни один из нас не грезил. Только о том, чтоб вернуться домой. С как можно с большим числом невредимых частей организма. На посмертный лавровый венок нам было начхать.

Когда сегодня они произносят свои речи, с факелами и барабанами ландскнехтов, то высокопарно утверждают, будто та бедная скотинка, которую по-идиотски загнали туда на смерть, знала, как погибать образцово. Чушь. Ничего подобного они не знали. Как и мы не знали, для чего угодили в большую колбасную машину.

От того, что их потом канонизировали как святых, они не воскреснут. Им-то что с того, что нацисты будут им поклоняться. Когда-нибудь во славу их воздвигнут алтари, по одному в каждом округе. За религией дело не станет. Здесь, где мы *подлежали полям сражений*, земля и до сих пор наверняка полна костей.

Подлежит полям сражений. Иногда с языком случается то же, что с пропагандой, и он по недосмотру, невзначай, глядишь, и выскажет правду. То действительно были всегонавсего поля, за обладание которыми шла такая рубка. Поля брюквы. Тяжелый глинозем Фландрии. И мы действительно подлежали. В вертикальном положении становишься слишком удобной мишенью для снайпера. Даже головы не поднять. Ведь у нас еще не было даже стальных касок. Они появились позднее. У нас были кожаные шлемы. С заклепками, которым надлежало отражать сабельные удары.

На картинках про Лангемарк все изображены в стальных касках. «Это соответствует ожиданиям публики», – как сказали бы на УФА. Какой представляет себе мировую историю маленький Мориц, такой она будь любезна и оказаться. Что-то в этом роде я где-то читал, и это правда. Если бы войну можно было вести картинками, мы бы ее выиграли.

Мы? Я больше не принадлежу к этому «мы».

При этом я один из героев, которые действительно брали Лангемарк. Странно, что господин Геббельс никогда не упоминает об этом в своих торжественных речах.

Слов *фронтное братство* я не понимал никогда. Если я еду в поезде, и он вдруг сходит с рельсов, это не значит, что все пассажиры вдруг становятся моими друзьями.

Человека, который был мне тогда ближе всех, звали Пауль. И дальше что-то восточно-прусское. Но друзьями мы не были.

Он с самого начала войны был призван как резервист и с тех пор был на фронте. Лет тридцати или, может, меньше. Трудно сказать. Такая униформа нивелирует возраст. Некоторые в сером обмундировании выглядят как переодетые школьники. А другие, наоборот, так, будто идут на встречу ветеранов. На мой взгляд – тридцать. Но дело уже не в этом.

Крепкий, тяжелый мужик. Почти моего роста, а ведь я был самым долговязым во всей роте. Но я был худой, а он массивный. Не толстый, но обмундирование свое заполнял. Поразительно мощные кисти рук с кустиками волос на тыльной стороне. Как-то раз он вздумал натянуть на них кожаные перчатки из благотворительной посылки – так они лопнули по швам. Будь он лошадьё, ему бы непременно досталось тянуть телегу пивовара.

У него умер отец, и ему дали отпуск на родину для похорон. Когда он приехал домой, старик был уже в норе, как он без лишних сантиментов сформулировал по возвращении на фронт. Но с поминками его дожидались. Об этом он рассказывал с воодушевлением человека, который слишком долго сидел на брюкве с перловкой. Разговорился он и еще на одну

тему. Без малейших затруднений он поведал о трех ночах, которые провел со своей женой. Она была – по его формулировке, исполненной любви, – метла крепкая. В доказательство он показывал всем ее фотографию, которую всегда носил с собой. Сообща они выжали из себя максимум возможного, чтобы за три дня наверстать все, упущенное за бесконечные месяцы войны.

– Из-под перины выбирались только поесть, – сказал Пауль.

Я заговорил с ним потому, что он напомнил мне моего отца. Не внешне, разумеется, большой контраст трудно было бы себе представить. Но в словаре Пауля промелькнуло несколько выражений, которые я до сих пор слышал только дома. Поминки были «амбарчик», а старший лейтенант Баккес – «творожья башка».

Из этого я заключил, что Герсоны когда-то перебрались в Германию с востока. Из России через Восточную Пруссию и Бранденбургское маркграфство в Берлин. С каждой промежуточной остановки они принесли пару выражений. Чтобы завершить потом свое личное маленькое переселение народов снова на востоке. Окончательно.

Пауль привязался ко мне, как он привязался бы к осиротевшему олененку. Отнюдь не становясь из-за этого вегетарианцем. Он принял меня, что называется, в подмастерья. При этом подходил к войне и к ее многообразным методам убийства очень по-деловому – как к ремеслу, которое полагалось серьезно изучать.

Он объяснил мне, например, почему штык в окопном сражении не идеальное оружие:

– Если окоп узкий, легко может получиться, что ты прикладом упруешься в стенку и не сможешь как следует вонзить штык.

Также он отсоветовал мне слишком острую саперную лопатку, которая хоть и практична и по большей части смертельна, но если с нею попадешь в плен, тебе перережут ею горло. Для ближнего боя, по его мнению, лучше всего была простая палка, обмотанная колючей проволокой, такую, он считал, всегда надо иметь под рукой, она наносит глубокие раны, «а окончательно добить парня сможет потом кто-то еще».

После чего снова возвращался к тушеной капусте с фрикадельками, а оттуда – к телесным прелестям своей жены.

Мы с Паулем не были друзьями. Мы просто оказались случайно в одном поезде, сошедшем с рельсов.

Пауль мог читать войну как крестьянин природу. Выиграл несколько пари, потому что с точностью до минут мог предсказать, когда смертельно раненный, молящий о помощи на нейтральной полосе между окопами, окончательно смолкнет. Настоящий крестьянин, он на все имел свои правила.

В укрытии, учил он, следует по возможности всегда держаться у передней стенки. На той стороне, откуда прилетают вражеские снаряды. Он даже нарисовал мне схему, поперечное сечение окопа. Использовал для этого, поскольку не было другой бумаги, оборот фотографии жены.

– Вот так прилетает снаряд, – объяснял он, – всегда по дуге. – Он заштриховал треугольник, в котором, на его взгляд, было безопаснее всего. – Либо она ударит перед тобой в землю, и ты защищен, либо она перелетит через тебя. Только жужжалки из английского «стокса» падают почти отвесно.

Может, он был и прав со своей теорией. Вот только снаряд, засыпавший наш блиндаж, прилетел сзади. Из одной из новых крупновских пушек, которые, как писали газеты, уже очень скоро решат исход войны в нашу пользу. Они прицелились с небольшим недостатком. Маленькая неточность, которая может случиться в горячке боя. Нам очень жаль, мы не хотели.

Снаряд ударил в метре позади нашего блиндажа, взрывная волна отдалась во всем теле. Я уверен, Пауль мог бы назвать нам точный калибр. Если бы его рот не забило землей.

Взрыв вырыл в земле воронку, в которой, как говорили потом, можно было бы утопить автомобиль. Ударная волна передавалась по земле, и задняя стенка блиндажа перекаатилась через нас. Бревна, которыми было укреплено перекрытие, потеряли опору и рухнули на нас вместе с мешками песка, которые должны были защищать нас от осколков. Нас было восемь в блиндаже, когда это произошло. Семеро были убиты на месте.

Кенигсбергский говяжий рубец. О нем Пауль как раз вел рассказ. Суп из требухи, который никто на свете не умел приготовить лучше его жены. *Кенигсбергский говяжий рубец.* С майораном. И тут разорвался снаряд.

Как будто чей-то кулак толкнул меня в спину и притиснул к Паулю. Я ощущал его лоб вплотную у моего рта. Достаточно было вытянуть губы трубочкой, чтобы его поцеловать. В то место, куда мама стучала пальцем, говоря: «Какой же ты твердолобый».

Его лоб на моих губах.

Я пытался отлепиться от него, но был прочно запечен во фландрийскую пашню. Как брюква, которую забыли убрать. Блиндаж до самого перекрытия – до того места, где раньше был настил, – оказался заполнен вязкой глиной. Я был плотно замурован в нее. Единственное, чем я мог шевельнуть, были пальцы ног внутри сапога. Еще мог открыть и закрыть глаза. Только разницы не было никакой – в могиле-то.

И еще я мог дышать.

Пока еще мог.

Мой шлем, ремешок которого я не застегнул под подбородком, сполз вперед и теперь образовал между моей головой и головой Пауля подобие ската крыши. Под нею было небольшое пустое пространство с остатком воздуха.

Совсем маленьким остатком.

В Голландии я знал одного человека из еврейского совета, который хотел отравиться автомобильным выхлопом, чтобы не дожить до депортации. Его спасли в последний момент – против его воли. Он рассказывал нам, что вообще не заметил удушья, а просто заснул в хорошо загерметизированном гараже.

В Вестерборке, где я снова встретил его, он жаловался, что там никогда не бываешь один и потому не можешь спокойно повеситься. Потом он пытался нарваться на пулю, набросившись при погрузке на одного из охранников. Но еврейская служба порядка не была вооружена стрелковым оружием, и его просто побили, прежде чем затолкать в вагон. Угарный газ был бы проще.

Всю мою жизнь я не очень хорошо чувствовал себя в слишком тесных помещениях. В «Бомбардировке Монте-Карло» была одна сцена, где Альберс велит запереть меня в чулане. Режиссеру тогда пришлось твердо пообещать мне, что этот кадр он снимет с первого раза, без дублей.

Самое худшее при удушье – первые минуты. Когда еще сопротивляешься. Фаза паники кажется тебе гораздо дольше, чем есть на самом деле. Когда воздух кончается, голова тяжелеет. Как только в крови скопится достаточно углекислого газа, ты теряешь сознание. На медицинском факультете нам говорили, что у испытывающих удушье в этот момент начинаются галлюцинации. *Вся его жизнь пронеслась перед его внутренним взором.* Ничего такого я не заметил. Да ведь я не так уж много и пожил перед этим.

Тем, что я все же не умер, или, вернее, умер не окончательно, я обязан опять же нашей артиллерии. Они все еще не пристрелялись на нужное расстояние, и вторым снарядом наш блиндаж опять освободило. Частично. Верхний слой форменным образом сдуло, так что наши головы теперь торчали из земли – моя почти целиком, а Пауля – только до носа. С тем

чтобы нас откопать, пришлось обождать, пока батарея наконец не установила правильный угол огня, и потом, как мне рассказывали, далеко не сразу меня удалось извлечь наружу. Так плотно осела глина. Сам я ничего этого не помню. Как не помню и чтоб я хватал ртом воздух или вроде того. Когда сознание ко мне вернулось, я уже лежал на носилках.

Ничего особенного я не думал. Ничего такого, что автор сценария вложил бы в уста своего главного героя. То, что я ускользнул от смерти, лишь слегка поцарапавшись об нее, не сделало из меня большего героя. Пока я пытался выполоскать рот, чтобы избавиться от глины и песка, в голове у меня вертелось, как бы выгадать со сроком получения чистой униформы. Как бы раздобыть новый шлем. Мой, сорванный вторым взрывом, валялся метрах в двадцати от наших окопов на нейтральной полосе.

Иногда я думаю, что мне следовало что-нибудь сказать Паулю, пока еще был воздух. Что он замечательный парень или что-то в этом роде. Мой лучший друг. Хотя это было и не так. Но хоть что-то.

Пусть бы он этого и не услышал.

Я надеюсь, что по крайней мере тем мерзавцем, который сочинял письмо его родным, был Алеман. И что он придумал для Пауля совершенно особенный подвиг. Чтобы его жена, крепкая метла, могла им гордиться.

Чтоб правда никогда не дошла до нее. Или надо было сообщить ей: «Его заживо зарыла собственная артиллерия, и в предсмертный миг он думал о *кенигсбергском говяжьем рубце*»?

Пару дней назад мне приснился кошмар: будто я прихожу в театр с опозданием, представление уже началось. Администратор нетерпеливо машет мне, требуя на выход. Я в костюме шекспировского короля, в руке у меня скипетр, а на голове корона. Я выхожу из-за кулис и понимаю, что я не в том спектакле. Декорации из «Колыбельной», нашей последней постановки в Схувбурге, в Голландии. Должно быть, шел третий акт, поскольку там стоял мой чемодан. Чемодан, с которым я должен был уехать. И я узнаю актеров. Они не из этой пьесы. Сплошь знакомые лица. Там и Вернер Краус, и Дорш, и Хоппе, и Флорат, и Георге. Все оказались на месте вовремя. Они смотрят на меня выжидательно, а я стою со своим скипетром и не знаю текста. Я должен спасти положение, но не знаю как. Все билеты на спектакль проданы. Я не могу видеть зрителей, но чувствую, как они ждут, что я скажу и сделаю все, что надо. Суфлерская будка пуста, в ней стоит лишь метроном и издает свой тик-так. И вдруг эта штука в моей руке – уже не скипетр, а дирижерская палочка, и я хочу задать другим их вступление, но они не поют, а ждут, что я в одиночку найду правильный тон.

Потом я просыпаюсь, и сердце у меня бешено колотится.

Такие же сны у меня были и тогда, когда я вновь очутился в Берлине, приехав в отпуск по ранению. В то время еще действовало правило, что контуженому давали отпуск на родину. Позднее, когда экономить приходилось на всем, стали экономить и на этом.

Не надо было мне ехать.

На Клопшток-штрассе я попал не в ту пьесу. Мне пришлось играть роль, которую я не учил. Несколько ролей сразу, и ни к одной из них я не был готов.

Папа, все еще пребывая в патриотической фазе, хотел видеть меня героем войны. Не давал мне снять униформу даже на пять минут. Когда я садился завтракать, на столе уже лежала наготове «Фоссише цайтунг», сложенная так, чтобы я первым делом мог прочитать сводки с фронта. Если там было напечатано, что дирижабль сбросил бомбу на Париж – на *твердыню Парижа*, как тогда говорили, – папа по-свойски спрашивал меня:

– Ну, мальчик мой, когда же мы туда войдем?

«Мы», говорил он. Тем подражательно-бодрым тоном, который ему совсем не шел.

Если бы я стремился ему угодить, мне пришлось бы беспрерывно изображать бравого воюку. Я каждый вечер сопровождал бы его в пивной погребок, где он с недавнего времени регулярно встречался с другими отечественными швейниками. И он бы там всем представлял своего дрессированного танцующего медведя. «А вот и мой храбрый сын, – говорил бы он. – Он воюет под Ипром и задает жару этим томми».

Он не мог понять, почему я не хочу с ним пойти.

А для мамы все должно было идти так, как было до войны. Обстоятельства отняли у нее маленького мальчика, и когда она вновь обрела его, ей хотелось его побаловать. Всеми теми вещами, какие любят маленькие мальчики. Воскресный десерт она ставила передо мной по три раза на дню. Она предпочла бы кормить меня с ложечки. Удивительно, как она не купила мне вторую игрушечную железную дорогу.

Она хотела как лучше, а я даже не мог обрадоваться, чтобы сделать ей приятно.

Я больше не был тем Куртом Герсоном, который только что сдал выпускные экзамены. Мне все еще было семнадцать, да, но я стал другим. Не жестче, не крепче и уж никак не умнее. Я просто не подходил больше для старой роли.

Лучше бы мне было остаться на фронте.

Тошнее всего было их любопытство. Они хотели как лучше – и было невыносимо.

– Ну расскажи же, как там? Ну расскажи!

Что я должен был им рассказать? Что есть список длиной в несколько страниц, о котором нам, простым солдатам, не полагалось знать, но который мы знаем наизусть? В котором детально расписано, какие ранения делают человека непригодным для фронта. Список возвращения домой по ранению. В нем значились не только очевидные случаи – без ног или слепой, – но и разные уловки, которые были для нас куда важнее. Например, отсутствия одного пальца недостаточно, чтобы сделать из солдата гражданского. За исключением указательного пальца правой руки. Без двух пальцев требовалась проверка: *а нельзя ли и без них исполнять обязанности повседневной службы без особого урона?* Но потерять три пальца – ах, три пальца! – это была удача. Большое везение. Просто тур танго. Не знаю, почему его так называли. Может, потому, что танцуешь от радости, когда ранение достаточно для того, чтобы вернуться домой.

Может, надо было рассказать это папе? Тогда как ему хотелось слышать героические байки?

И мама, которая пичкала меня сладостями. Рассказать ей про полбуханки хлеба, которая нашлась при убитом и которую мы разделили на три равные части, отрезав только совсем тонкий краешек – там, где корка была испачкана кровью? Надо было рассказать ей это?

Я бы только испортил ей аппетит.

Первые два дня я просто молчал.

– Дайте мне немного отдохнуть, – сказал я.

Но я был человек театра, уже тогда, хотя еще совершенно не знал об этом. Поставь меня на сцену без текста – и я начну импровизировать. И я придумывал истории, безобидные мелкие происшествия, которых на самом деле никогда не было, а если и были, то не такие, какими я их изображал, зато они соответствовали ожиданиям моих слушателей. Хотели бульвар, пусть получают бульвар.

Одного персонажа, которого я выдумал для них, я помню до сих пор. Только что назначенный фельдфебель-лейтенант, смехотворный тип, ни рыба ни мясо – что-то среднее между унтер-офицером и офицером. Этого рыцаря печального образа, которого на самом деле никогда не существовало, я заставлял спотыкаться о шпагу, которая теперь была частью его парадной формы и к которой он не привык. Изображал пантомимой, как он встречает настоящего лейтенанта, которому автоматически собирается отдать честь, и как его рука останав-

ливается на полпути к фуражке, потому что он вспоминает, что теперь ведь это не обязательно.

Папа громко смеялся, а мама, воспитанница пансиона, прикрывала рот ладонью и говорила:

– Но Курт!

На аплодисменты быстро подсаживаешься, и я изобретал и другие безобидные фронтовые анекдоты. Про найденную в английском окопе банку консервированной солонины, в которой застряла пуля, и тут же один камрад сломал об нее зуб. Про старую деву, которая связала напульсники двадцати разным солдатам и в каждый пакет вложила брачное предложение. Я был на высоте. Родители всему верили. Война, которую я им изображал, подходила к духоподъемным статьям всех Алеманов, какие только писали тогда для газет.

И хотя я знал, что мои истории не имеют ничего общего с действительностью, на меня самого они действовали благотворно. Я инсценировал мир, подправляя его, и одновременно сидел зрителем на собственном спектакле. Наслаждался театром, который разыгрывал перед другими.

«Люди хотят забыть повседневность». Это было девизом и в Вестерборке. Девиз годился не только для тех, кого развлекали, но и для тех, кто развлекал. Хорошо придуманная ложь убеждает самого лжеца не меньше, чем обманутого.

Я всю мою жизнь был хорошим шутком.

Должно быть, уже вечер. Ольга принесла с раздачи еды мою порцию и поставила передо мной на ящик из-под маргарина. Коротко улыбнулась мне и снова ушла, не сказав ни слова. Не хочет мешать моим раздумьям.

Она обходится со мной как с больным. Почему меня так бесит ее деликатность?

Сегодня порция ноль четыре. Четыре децилитра. Иногда – в хорошие дни – бывает ноль пять.

Знаменитый терезинский суп. Из экстракта чечевицы. Омерзительная слизь. Ничего другого сегодня не дали.

Бывает, идешь с раздачи со своим котелком, а по дороге стоят старики и спрашивают:

– Вы будете доедать ваш суп? А то бы мы забрали, если вы не хотите.

Они знают, что многие не могут заставить себя его проглотить. Неправда, что голод лучший повар. Он здесь единственный.

Если повезет, ингредиенты разварены так, что и не различишь. А если не повезет, то различаешь.

Но это суп, а я голоден. Голоден мой организм.

Запах варева вызывает у меня дурноту, но вместе с тем во рту у меня текут слюнки. *Nervus vagus* отсылает свои сигналы. Желудок начинает вырабатывать кислоту. Голод.

Суп.

С тех пор как я в Терезине, я понимаю Пауля с его *кенигсбергским говяжьим рубцом*. Воспоминание о былых вкусах может быть утешительным. Я тоже иногда фантазирую во сне о дедушкином майонезе из лосося. Единственная форма онанизма, которая мне осталась.

Не один я такой. Некоторые здесь проводят целые часы, обсуждая рецепты блюд, которые им уже никто никогда не приготовит. Обмениваются ими – как мы в гимназии обменивались неприличными французскими открытками. Находят их такими же возбуждающими. Ольга рассказывала мне про двух женщин, которые чуть не подрались, не сумев прийти к согласию, нужен ли для заливного карпа сахар или нет.

Заливной карп. Никогда не пробовал. Папа не терпел на столе ничего, что казалось ему чересчур жидковским. Пробел в моем образовании, который теперь уже не восполнишь.

В Вестерборке Макс Эрлих, который не чурался даже неудачных шуток, говорил в своем конферансе:

– Здесь, в лагере, сборник рецептов – ценная наука для пустого брюха.

Люди ужасно смеялись, но они там смеялись любой остроте. Каждая могла стать последним шансом повеселиться. Надо бы – в противовес сборнику рецептов – как-нибудь систематизировать голод. Со всеми его подвидами. От небольшого аппетита до прожорливости. От «кусочек я бы еще осилил» до «если сейчас не найдется чего-нибудь пожевать, я сойду с ума».

Д-р Шпрингер рассказывал мне про одного пациента, который умер от голода из-за собственной прожорливости. Отковыривал оконную замазку и поедал. Замазка забила ему пищевод.

В Вестерборке тоже был один такой – коммерсант с сардинами в масле. Он исхитрился протащить в лагерь целый чемодан консервов и продавал их втридорога. До тех пор, пока его имя не появилось в списке на ближайший депортационный транспорт. Тогда он всю ночь напролет просидел на нарах, вскрывая одну банку за другой. Сардины съедал, масло выпивал. Никому не давал ни кусочка. Жрал, и блевал, и снова жрал. А потом перерезал себе вены острым краем консервной банки. Но это ему не помогло. Они затолкали его в вагон перевязанного.

Такими историями легко можно было бы заполнить целую книгу. Я бы написал к ней предисловие. Я в теме.

И все проиллюстрировать фотографиями людей, которые от голода потеряли рассудок. Убили другого за кусок хлеба. Я знал несколько таких примеров.

Я голоден.

И вот он, суп.

Однажды – теперь уже не помню, почему в тот день я не был на передовой, – оттуда вернулись остальные. Из самого переднего окопа. Чумазые, усталые, разбитые. Но не такие голодные, как обычно. И рассказали, что к ним туда пробрался какой-то сумасшедший из роты продовольственного снабжения, который притащил на передовую ведро из-под джема, полное супа. В фартуке поверх формы. Что с него взять – сумасшедший. Обстрел был не такой ожесточенный, как в другие дни, но тем не менее. Со своим ведром – до самого переднего окопа. А ведь никто не гнал его от полевой кухни. Сидел бы себе там, подальше от пальбы.

Свой фартук он перекинул через локоть наподобие салфетки и наполнил до краев их котелки. Настоящий суп, не слепой, как мы его тогда называли, если нигде от края до края не плавало ни одного глазка жира. При этом он все время смеялся. Смеялся и кашлял. Они слышали его и тогда, когда он уходил назад.

Он спрашивал про меня, тот сумасшедший. Мол, нет ли тут Курта Герсона, длинного такого, тощего. Мол, он его друг.

Калле.

Я нашел его подле его гуляшной пушки. Над ней натянули палатку с дырой для трубы. Она действительно напоминала пушечное дуло, направленное в небо. На боковом полотнище кто-то нарисовал масляной краской герб, увенчанный короной. Три перевитые друг с другом буквы *К. Король Кухни Калле* – вот что должно было это означать. Он по-прежнему любил играть аристократические роли.

В плотной полотняной одежде с белым фартуком он выглядел как ряженный. Черпак, такой огромный, что больше походил на весло. Он взял его передо мной «на караул», как винтовку на учебном плацу. Как в одной из наших мальчишеских фантазий. Что будем играть

сегодня? Открытие Америки? Стэнли и Ливингстона в Африке? Или все же лучше Западный фронт?

Мы не обнялись, даже не похлопали друг друга по плечу, как это любят делать мужчины. Мужчины? Мы еще не были мужчинами. Показывать свои чувства никогда не было моим амплуа. Калле тоже не спрашивал, как мне живется. Мы оба все еще были живы. Все остальное в то время считалось несущественным.

На кухонном фронте не бывает убитых, и ему было легче рассказывать, чем мне. Как если бы мы после долгих каникул встретились на школьном дворе и он безотлагательно должен был рассказать мне все свои приключения за лето. Поскольку он был Калле и очень любил смеяться, то были сплошь комические сценки. В учебке дела его шли так же, как в гимназии. Везде ему удавалось выпутаться. Даже мучители, которые любят дать другим наглядный урок на самых слабых, на всю его неумелость закрывали глаза. Кто сумел довести до смеха Хайтцендорффа, тому не страшна никакая шлифовка. Его научили готовить еду, и это было – так, как он это рассказывал, – самое смешное мероприятие. Потому что главное в этом деле не то, какова еда на вкус, а то, чтобы не использовать продуктов больше, чем предусмотрено рационом.

– Рационом, которого мы на самом деле совсем не получаем. Со смеху помрешь. Теоретически каждому человеку полагается в день триста семьдесят пять граммов мяса. Не триста восемьдесят и не триста семьдесят. Ровно триста семьдесят пять граммов. При том что иногда целую неделю не привозят вообще никакого мяса. Гениальная мера военного министерства. Чем хуже солдаты, тем труднее врагу в них попасть.

Калле не изменился. Войну он принимал всерьез так же мало, как и все остальное. Если он со своим ведром супа добрался до зоны обстрела, то не из храбрости, а потому, что в игре не может случиться ничего серьезного.

Но то была не игра.

Было желтое облако. Плоская местность. Ветер с востока.

Они пытались удержать это в тайне, но это, естественно, не сработало. На фронте, где каждое изменение решает вопрос чьей-то жизни и смерти, слухи распространяются быстро. Дюжина высших чинов прибыла из Берлина, это значит – с собственным вагоном продовольственного снабжения. В котором определенно варили не только перловый суп. Некоторые, как было замечено, имели на штанах широкие красные генеральские лампасы. Уж они-то прибыли не для того, чтобы проверить правильность посадки фуражек на наших головах. Что-то за этим крылось. По рассказам, они появлялись на самых разных участках фронта. Обшаривали своими биноклями местность. Как будто собирались на охоту и выбирали правильное место для засады.

Что и было на самом деле.

Больше всего разговоров было о капитане, который всегда находился при них. Совсем не военный персонаж с пенсне на носу. Если кто-то отдавал ему честь, он не знал, куда девать руку. Совсем не крупный зверь – не то что другие. Переодетый гражданский. Однако, если он что-то говорил, все его слушали. Бинокли дружно устремлялись в ту сторону, куда он указывал. Важный человек, но не солдат. Об этом много гадали.

На запасном пути у разрушенной мельницы – там, где нас тогда выгрузили, – вот уже несколько дней стоял поезд с товарными вагонами. Их не разгружали, но круглосуточно охраняли. Это тоже наводило на размышления.

Для этой охраны специально прибыли новые солдаты. Новенькие, с иголки, униформы, какие наш брат может получить, только если пьет со старшим по обмундированию. От нас они держались на расстоянии. Только делали намеки, что знают то, о чем мы понятия не имеем. И что, мол, мы еще увидим, откуда ветер дует.

Приказы об атаках больше не отдавались, и наша артиллерия, казалось, посыпала свои орудия нафталином. Как если бы грянул мир. Однажды мы вернулись из окопов после двух дней, не сделав ни одного выстрела. Прошел слух, что скоро будет заключено перемирие. И что человек, который так неуютно чувствовал себя в своей капитанской форме, на самом деле личный секретарь кайзера, а в бинокли они высматривают сигнал с другой стороны.

А поезд, который не был разгружен?

– Там шампанское, – говорили самые сообразительные. – Чтобы они могли чокнуться, когда заключат мир.

Но то было не шампанское. И мира они не планировали. Они задумали совсем другое.

Была середина апреля, и уже чувствовалась весна. Правда, поля слишком часто перепачкивались снарядами, чтобы там еще что-то могло взойти. Цветущего мака, о котором потом много рассказывали, я ни разу не видел. Но по ночам мы мерзли уже не так сильно. Если несколько дней не было дождя, уже слышалось пение птиц. Бог весть, где они зимовали и когда прилетели.

Сам я в глаза не видел охотничье общество с высшими чинами. Но в сортирах слухи распространялись еще быстрее, чем вонь. Всегда было известно, где эти господа находятся в настоящий момент. Прямо перед Лангемарком они, кажется, нашли то, что искали.

Новички в чистеньких униформах разгружали таинственные товарные вагоны. Таскали ящики в окопы. Занимались этим всю ночь. Мы с удовольствием расписывали себе, как эти салонные солдаты тщетно ожидали там перин и поцелуя на ночь.

На следующий день выдали шнапс. Двойную порцию. Плохой знак. «Если есть шнапс, будут убитые», – гласило эмпирическое правило. Был отдан приказ о готовности к тревоге, но потом несколько часов ничего не происходило. Не было чего-то того, что им требовалось.

Ветра, естественно. Но об этом мы тогда не догадывались.

К вечеру стало заметно какое-то движение. Вестовые роями разлетались во все стороны. Ровно в пять часов с аэроплана выпустили три красные ракеты. То был сигнал.

Ветер дул с востока. Местность была плоская. Желтое облако покатило к французским линиям.

Хлор выжигает бронхи. Легкие наполняются водой. *Laringospasmus. Hypoxie. Exitus letalis*. Кто его вдохнет, тот задохнется. Захлебнется на сухой земле. Губы посинеют от недостатка кислорода в крови. Большинство трупов, мимо которых мы проходили, лежали на спине. Сжав кулаки. Боксеры, которые хотели нанести самый последний удар.

Немногие, в ком еще теплилась жизнь, пытались уползти. Прочь от смертельного облака, которое уже давно укатилось дальше.

Главным образом то были алжирцы. Спаги, которые отличались особой лютостью. С перекошенными чертами они выглядели так чужеродно, как их нам и описывали.

Мы были на этот день прикомандированы к 51-й резервной дивизии, позиции которой примыкали к нашим. Двойной рацион шнапса правильно предсказал атаку. Только то была вовсе не атака, а променад. Прогулка по кладбищу. По крайней мере, вначале.

Противогазов тогда еще не было.

– Пока вы остаетесь позади облака, – было обещано нам, – с вами ничего не случится.

После первого окопа, полного трупов, уже не все верили в безопасность нашего продвижения, но офицеры гнали вперед и неверующих.

Итак, мы продвигались все дальше, и это совсем не походило на атаку. Прежде всего: было тихо. Естественно, генерал-бас артиллерии громыхал над нашими головами все время, но голоса мелодий отсутствовали. Ни ружейных выстрелов. Ни тархтенья пулеметов. Ни взрывов гранат.

Вообще никакого сопротивления.

Как во сне, где тоже делаешь неестественные вещи и находишь их само собой разумеющимися. Перед проволочным заграждением просто останавливаешься, стоишь во весь рост и ждешь людей с ножницами, чтобы они проделали ход. Воронки от взрывов, в которые обычно ныряешь, чтобы на несколько секунд получить укрытие, обходишь стороной. Как на тротуаре обходишь лужу, чтобы не запачкать ботинки. Никто не кричал от боли и никто – для храбрости. Молча мы прокладывали себе путь через французские позиции.

Один раз вспыхнула паника, ненадолго. Потому что из укрытия поднимался дым. На какой-то миг почудилось, что ветер развернулся и теперь гонит желтое облако на нас. Но оказалось, это был небольшой костерок. Один из алжирцев, задыхаясь, выронил курительную трубку, и от нее на нем загорелась форма.

Так мы взяли тогда Лангемарк. Что не удалось хваленым героям 1914 года со всеми их патриотическими песнями – если они их действительно пели, – то удалось немецкой науке при помощи нескольких тонн сжиженного хлора. В нужный момент открыли нужные вентили, все остальное предоставив законам природы.

Мы просто прошли через Лангемарк. Больше там не с кем было сражаться. Я видел там странные вещи. Видел человека, который сидел, прислонившись спиной к стене дома и скрестив ноги, перед ящиком ручных гранат. Точно женщина с корзиной яиц на рынке. Видел одного, застигнутого в момент испражнения; поскольку он лежал со спущенными штанами, то казался более мертвым, чем остальные. Нарциссы, которые тоже полегли. Даже цветы могут задохнуться.

А в остальном – деревня как тысячи других. Разрушенная войной как тысячи других. Ничего, за что стоило бы сражаться.

По пути облако разрешилось. Все чаще стали попадаться не до конца удушенные, они кашляли и давились. Нас даже обстреляли. С той стороны, где, как мне кажется, располагалась английская часть. Мы продвинулись вперед дальше, чем от нас ожидали. Или ожидали, но, несмотря на это, не держали наготове достаточно войск против наступающих.

Не важно.

Мы окопались в захваченном окопе, прямо у Стинбика. Эту позицию мы удерживали несколько дней, пока французы не отвоевали ее назад. До Ипра мы не дошли, но очень много солдат противника полегло, поэтому все мы можем гордиться, как сказал старший лейтенант Баккес.

Трупы вывозили на ручных тележках, по четыре-пять за один рейс. Вначале они выполняли свою работу с некоторой торжественностью, каждое тело поднимали втроем или вчетвером и укладывали его к остальным осторожно, почти бережно. Но на целый день такого пиетета не хватило. Не в пропотевшей униформе и не с усталыми мышцами. С какого-то момента они стали думать лишь о том, как бы скорее управиться. Мертвый солдат, в конечном счете, не более чем свежезабитое животное. Один брал его за ноги, другой за руки и – раз-два! – швыряли в тележку.

Мы благодарили Бога, что нас к этой работе не привлекли.

В Терезине у нас тоже есть тачки. Носильщики трупов получают дополнительное питание, и о такой работе мечтают. Я видел своими глазами, как носильщик в одиночку поднял труп с земли и уложил к остальным. Умершие от голода старики весят меньше, чем солдаты в полном обмундировании.

Куда увозили трупы, я не знаю. Их было, должно быть, несколько тысяч. Если они отсылали все снятые личные бляхи во Францию, получился, должно быть, приличный пакет. В начале войны такие рыцарские жесты были еще в ходу. Позднее они поняли, что колбасная машина не имеет ничего общего с рыцарством.

В военных новостях про хлор не упоминалось. Речь шла только о продвижении фронта вперед и что мы пробились штурмом. Можно было назвать это и так.

Два дня спустя нас сменили. В нашем подразделении не было ни одного раненого, и от этого нам было странным образом стыдно.

Есть вещи, о которых нельзя говорить, но от них надо как-то освободиться. Может, определение друга: это человек, которому можно сказать невыразимое, который поймет то, что нельзя сформулировать. Как только появилась возможность, я бросился на поиски Калле.

Полевая кухня стояла на том же месте. Личный герб Калле по-прежнему красовался на брезенте. Но когда я заглянул в палатку, варево в котле помешивал кто-то другой. На меня прикрикнули, чтоб я ждал, когда сварится, а отвлекаться на постороннее тут нету времени. Тон не стал дружелюбнее, когда я спросил о Калле. Мне сказали, что искать его надо в перевязочном пункте. И что если я его встречу, то должен ему передать, что это не по-товарищески: из-за сущего пустяка сказываться больным. И оставлять всю работу на других. Нет, сказали, он не ранен, а просто кашляет – и, мол, если я его знаю, то должен знать и то, что кашляет он всегда.

Когда я пришел на перевязочный пункт, его уже увезли хоронить. Надеюсь хотя бы, что в тележке на одного.

Я не сразу выяснил, что он мертв, потому что Калле никто не мог вспомнить. Именами здесь не интересовались. Мне пришлось его описать, чтобы они поняли, кого я имею в виду. Настоящего врача у них не было; те все работали в больших лазаретах в тыловом секторе. Тут был только студент-медик, на которого взвалили слишком большую ответственность. Я еще не подозревал, что два года спустя тоже окажусь в подобном положении.

Нескончаемый смех Калле этот студент принял за интересный симптом и был немного разочарован, узнав от меня, что для Калле в этом не было ничего необычного.

Необычным было только отравление хлорным газом.

Калле подвернулся под случайно занесенное охвостье хлорного облака. Уже сильно разреженное и, собственно, уже не представлявшее опасности. Все остальные, кто оказался поблизости, лишь слегка покашляли. Но для ослабленных легких Калле даже столь малой дозы оказалось многовато. С приступом удушья его доставили в санитарный пункт, но тут для него ничего не смогли сделать. Тут все было настроено только на стреляные раны и на ампутацию. Три дня он хватал ртом воздух. Бесперывно кашлял и бесперывно смеялся.

– Никак не мог успокоиться оттого, что станет теперь героем войны, – сказал студент-медик. – Эта мысль казалась ему ужасно смешной. Вы это понимаете?

Да, это я понимал.

Как там сказал директор старших классов на выпускном торжестве? «Как бы тебе не умереть со смеху».

Четырнадцать лет спустя, в марте 1929 года, я познакомился с человеком, который убил Калле. Он был во фраке и сделал мне комплимент. Сказал, что уже дважды посмотрел «Трехгрошовую оперу», по-настоящему восхищен ею, а особенно мной. И как хорошо, что он теперь встретил меня лично, для него это большая честь, но теперь я должен его извинить, общественный долг, такой знаменитый актер, как я, должен ведь знать, каково это. «До следующей встречи, мой дорогой Геррон, до следующей встречи!» Поправил свое пенсне и направился к Генриху Георге, который в этот вечер играл главную роль.

Это случилось на вечернем представлении «Маркиза фон Кейта», которое мы затеяли, чтобы собрать деньги для вдовы Альберта Штейнрюка. Шестьдесят марок стоил билет в партер – в разгар экономического кризиса. Но если хочешь что-то значить в Берлине, приходится идти на такие расходы. Для этого на сцене тоже были только знаменитости, даже в самых маленьких ролях. Для Массари они ввели в спектакль бессловесную роль служанки.

И она – за то, что накрывала стол, – сорвала больше аплодисментов, чем весь ансамбль за обе части «Фауста». У меня у самого была всего одна фраза – как у одного из трех носильщиков в последнем акте. Остальные два были Форстер и Гарлан. Тогда мы делили одну актерскую уборную. Несколько лет спустя Гарлан, этот знатный нацист, не прикоснулся бы ко мне даже каминными щипцами.

Дело было во время большого публичного антракта после третьего акта, когда зрители могли выпить с нами, актерами, благотворительного шампанского. Ольга тоже пришла. Она тогда коллекционировала знаменитостей, как я мальчишкой собирал картинки с сигаретных пачек. Отмечала галочкой, кого встретила. В этот вечер – или, вернее, в эту ночь: был уже час ночи – ее коллекция заметно пополнилась. Там был президент Рейхстага. Министр культуры. Макс Либерман и Бруно Вальтер. Даже Эйнштейна они уговорили поучаствовать в почетной комиссии. Выглядел он не особенно воодушевленным.

И этот: человек в пенсне. Мне он не представился. В его кругах исходят из того, что каждый знает, с кем имеет дело. Мне он был незнаком, но Ольга читала иллюстрированные журналы и опознала его.

– Профессор Хабер, – сказала она. – Из Института кайзера Вильгельма.

Фриц Хабер. Человек, которому пришла в голову блестящая идея использовать хлор в качестве оружия. После войны я уже не был таким неопытным, как тогда в качестве солдата. Я уже знал, кто был тот невоенный капитан в пенсне.

Получился изрядный скандал. Я бросился за ним, схватил его за плечо и развернул к себе.

– Господин профессор, – сказал я, – отдаете ли вы себе отчет в том, что вы – убийца? Тысячекратный убийца?

Я рассказал ему о спагах с синими губами, как их швыряли на тележки, за руки, за ноги – и оп-па. О человеке, застигнутом в момент испражнения, и о том, который все еще пересчитывал свои гранаты в ящике.

И о Калле.

– Человек, придумавший такое, – сказал я ему, – должен все свои ордена засунуть себе в задницу, и Нобелевскую премию туда же. А у того, кто этим еще и гордится, – сказал я, – у того больной мозг. Мне не нужны комплименты от такого преступника. Ваша жена, – сказал я ему, – была куда разумнее, чем вы. Она застрелилась, услышав о газовой атаке. Из служебного пистолета, который был принадлежностью вашей красивой капитанской униформы. Это не заставило вас ни о чем задуматься, господин профессор?

Меня от него оттащили, и кто-то поднял пенсне, которое упало у него с носа. Я не дал ему пощечину, но и они не заставили меня замолчать. Я сказал ему все, что о нем думаю. Это слышало все лучшее общество Берлина.

Хабер медленно побрел прочь, как поджавший хвост пудель, а люди смущенно отводили от меня взгляд. Лишь немногие мне кивнули. Эйнштейн даже похлопал меня по плечу.

На то, что я сгубил свою карьеру – прежде всего на студии УФА, где правил Гугенберг, – на то, что я дискредитировал себя на все времена, мне было наплевать.

Но этого не было.

А было так.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать, кому я только что пожимал руку. К тому времени момент был уже упущен. Случай подавал мне сигнал для большого монолога, а я не среагировал. Теперь было поздно. Спектакль не приостанавливают из-за того, что ты припозднился со своей репликой.

Я видел его, он стоял рядом с Генрихом Георге. Вероятно, делал ему такие же комплименты, какие только что сделал мне. В нем не было ничего особенного. Довольно толстый человек с лысиной, которому я дал бы роль скорее торговца сыром, чем ученого.

Не тот момент и не та пьеса. Не тот костюм. Он во фраке, я во фраке. Вокруг нас господа с жирными затылками пыхают толстыми сигарами. Их дамы посверкивают бриллиантами, уверяя друг друга, что повод встретиться – феноменальный, «я не нахожу другого слова, моя дорогая: фе-но-ме-нальный».

Не та сцена для мировоззренческого спора. Не те декорации.

Мы были не во Фландрии, а в Берлине, не на фронте, а в фойе драмтеатра у Жандармского рынка. Кельнер подливал шампанское, и Ольга стояла рядом со мной, пополнив свою коллекцию знаменитостей двумя нобелевскими лауреатами.

Я смотрел вслед Фрицу Хаберу. И ничего не делал.

Это бы ничего не изменило, уговаривал я себя. Что толку, что я по столь общественно значимому поводу подрался бы с директором Института кайзера Вильгельма. Да это просто смешно. Еще подумали бы, что я пьян.

Но не это было причиной, почему я промолчал. Истинной причиной. К трусости это тоже не имеет отношения.

Истинной причиной было вот что: в тот момент, когда человека охватывает негодование, когда он чувствует, что кровь в его жилах закипает, в этот момент не можешь себе представить, что когда-нибудь снова остынешь. Но именно это и происходит. Если бы Хабер встретился мне тогда, сразу после известия о гибели Калле, вот уж тогда бы...

А может, и нет. Может, привитые воспитанием привычки и пересилили бы. Я бы встал навтыжку перед его капитанской униформой и, как положено, отдал бы честь. Не знаю.

Знаю только, что в эту ночь я продолжал пить шампанское и вести светские беседы.

– Да, господин коммерческий советник, экспромт Бергнер был блистательный. Просто блистательный.

Она играла слугу – у нее всегда была тяга к мужским ролям, – и когда Массари накрывала стол, вдруг сказала: «Увалень летит!» Зал взорвался ликованием, люстра чуть не обрушилась. Просто великолепно.

Будь я немного больше тем Куртом Герроном, с которым я так люблю фантазировать инсценировки, я бы взял Хабера за грудки, наплевав на шампанское и Жандармский рынок. Но ярость 1915 года стала уже слишком привычной. Я ее еще чувствовал, но она больше не была для меня руководством к действию.

Так уж есть: привыкаешь ко всему.

Так же, как мы привыкли жить одной неделей. Одним днем. Хорошо еще, что ни у кого из нас нет часов.

Привыкаешь ко всему.

– Плохо с ними поступили, – скажет кто-нибудь потом, думая о нас, но это уже будет не живое негодование, а лишь воспоминание о нем.

– Геррон тоже туда попал, – скажут, – печально, печально. Потому что не захотел снимать тот фильм.

Потом кто-нибудь подольет шампанского, и пойдет беседа о том, как блестяще опять сыграла Бергнер. Или кто там в то время будет блистать.

И у меня точно так же. Я смотрел вслед Хаберу и держал язык за зубами. Его фрак плохо шит, еще подумалось мне.

А мне уже махал Карлхайнц Мартин, который в тот вечер исполнял функции администратора – он был уже директором театра Фольксбюне, но в ту ночь, когда список действующих лиц и исполнителей лопался от знаменитостей, мы не нашли для него другого дела, – и мне пора было идти в свою уборную.

Я могу утешать себя лишь тем, что у Хабера отняли его институт. Вышвырнули его за дверь точно так же, как и меня. Убийцей можешь быть сколько влезет, а вот жидком быть не стоит. Тут никакая Нобелевская премия уже не спасет.

Хабер, если память мне не изменяет, эмигрировал и вскоре после этого умер. Где-то за границей. Ему можно только позавидовать.

А то легко было бы представить, что он сейчас тоже здесь, в Терезине. При его Нобелевской премии у него были бы неплохие шансы попасть сюда. Где собирают известных ученых. Чтобы можно было их предъявить, если кто-нибудь станет наводить о них справки. Доктор Икс? Профессор Игрек? Лучше некуда. Наслаждаются жизнью. Кто утверждает обратное, тот распространяет клеветнические измышления. Хотите взглянуть? Пожалуйста, хоть сейчас. Шкаф пять, выдвижной ящик семь. Аккуратно приколот рядом с другими экзотическими бабочками.

Они называют это знаменитостями класса А.

Ученые. Министры. Генералы.

Режиссеры УФА.

И люди со связями. Жены арийцев. Даже аристократки есть. В Ольгином подразделении уборщиц работает самая настоящая графиня, которая раньше знать не знала, как выглядит веник. Тут, в Терезине, можно развиваться и самосовершенствоваться.

Особенное украшение нашего списка знаменитостей представляет собой госпожа Шнайдахубер. Не самая типичная еврейская фамилия, но она носит такую же желтую звезду, как и все мы. Вдова мюнхенского начальника полиции. Он по глупости был в штурмовых отрядах, и во время «путча Рема» его уколошили. Но он и с того света простирает над ней свою защищающую длань.

Господин профессор Хабер тут бы не скучал. Мог бы смотреть представления моей «Карусели», и для этого ему даже не понадобилось бы надевать фрак. Шампанского мы тоже никому не можем предложить. Разве что глоток воды из бочки господина Туркавки.

Хабер мог бы посещать научные доклады. Их тут у нас много бывает. Нехватки умных голов нет. Пусть у них и не хватило ума вовремя смыться из Германии.

Он и сам бы мог делать доклады. «Как я изобрел отравляющий газ». Или: «Моя жизнь в качестве организатора массовых истреблений». Название заинтересовало бы даже СС.

Жаль, что его здесь нет.

Такой знаменитый человек, как он, уж конечно получил бы более качественное жилье, чем койка в общем бараке. Уж нашлась бы для него как-нибудь отдельная комнатенка. Может, даже люксовая бордельная каморка на нашей лестничной площадке. Вонь из отхожего места включена.

Можно было бы удостоить его. С такими-то заслугами.

Разумеется, он бы тоже участвовал в моем фильме.

Если я буду этот фильм снимать.

– Я хочу, чтобы в нем было много крупных планов со знаменитостями, – сказал Рам.

Ему не пришлось объяснять мне, почему он этого хочет. Чтобы доказать, что они еще есть. Чтобы предъявить его коллекцию бабочек.

Хабера больше нет. Он вовремя умер, этот господин профессор. Везет же некоторым.

Кто попался, кто нет, об этом лучше не думать. «К безумию ведет сей путь», как сказано у Шекспира. История сыграла с нами в русскую рулетку, но не так, как это показывают в кино. Пять гнезд заряжены, а одно пустое.

Иногда одно действительно пустое.

Я мог бы теперь сидеть на солнышке, в Голливуде, где у каждого собственный плавающий бассейн. Марлен писала мне об этом, и мне так уже и не узнать, не шутка ли то

была. Я мог бы поставить свой шезлонг рядом с ее. Коротко щелкнуть пальцами, и администратор картины принес бы мне виски. Так могло бы быть. Если бы только я...

К безумию ведет сей путь.

Или тогда в войну. На полметра левее – и меня бы сегодня не было...

На ширину ладони.

Это было 10 мая. За день до моего восемнадцатого дня рождения. Не везет мне с этой датой.

В детстве – если я хотел чего-то, до чего, на взгляд папы, еще не дорос, – он говорил: «Погоди, вот будет тебе восемнадцать. В восемнадцать ты будешь уже мужчиной».

Ха-ха-ха.

Я получил за это Железный крест 2-го класса. И значок за ранение, естественно. Про который Герстенберг сказал, что они цепляли его каждому, кто наступил хотя бы на чертежную кнопку.

То была не чертежная кнопка. То был осколок снаряда.

Прозвучал сигнал к атаке, и мы выбрались из окопа. Слишком трусливо, чтобы быть героями. Передо мной бежал старший лейтенант Баккес. Его «Ура!» звучало как служебное указание для штабной канцелярии. Не был его голос геройским органом.

Геройский орган... Остроты рождаются сами собой.

Выбрался из окопа и побежал вперед. Шага три или четыре. Не больше. Споткнулся. Я думал, что только споткнулся. Но потом уже не мог встать.

Думать о чем-нибудь другом.

В детстве я боялся зубного врача. У д-ра Френкеля на Тауентциен-штрассе у самого были плохие зубы, и чтобы отбить дурной запах изо рта, он сосал мятные таблетки. Его врачебное кресло было обито красной кожей, а подлокотники украшены чугунными львиными головами. Прямо героический царь зверей. Однажды, когда я с криками упирался на лестнице, чтобы не входить в кабинет, мама сказала: «Надо просто решиться, стиснув зубы». Мы с папой так расхохотались над этим, что я забыл про страх.

«Немецкий солдат не знает страха». Так точно, фельдфебель Кнобелох. Это не страх. Во время атаки испытываешь что-то куда хуже.

Тем не менее мы побежали.

Не больше четырех шагов. Сперва было вообще не больно. Мне казалось, я всего лишь споткнулся. Потом я подумал, что наложил в штаны. Но то была кровь.

Было вообще не больно. Сперва.

10 мая. Всего тебе самого лучшего ко дню рождения, дорогой Курт. Всего тебе самого лучшего ко дню рождения.

Мама написала мне длинное поздравительное письмо. Она еще ничего не знала про ранение. Вложила в конверт засушенные лепестки розы. Один из дамских элегантных жестов, которым ее научили в пансионе.

«Желаю тебе в первую очередь, чтобы ты и дальше оставался здоров», – было написано в этом письме. Ее красивым бад-дюркхаймским почерком. «Здоровье – это самое главное». Никакой конференцер, как она всегда именовала конференсье, не смог бы пошутить настолько к месту.

Ха-ха-ха.

Я до сих пор вижу улыбку капитана медицинской службы. Одного из тех, что никогда не теряют оптимизма, сколь бы дурные новости они ни сообщали.

Низенький, уютный человечек. Всю жизнь упражнявшийся в том, чтобы успокаивать испуганных граждан. По случаю войны его упаковали в военную форму с цветной фронто-

вой повязкой. Изголовье у меня было высокое, и взгляд мой упирался прямо в пряжку его ремня, когда он стоял у моей кровати. Позолоченную и украшенную двумя жезлами Эскулапа.

– Вам повезло, – сказал он.

Какая негодная ложь.

А как следует сообщать плохие новости?

Можно натянуть сапоги, как это сделал фон Нойсер, когда вышвыривал меня из УФА, и раскачиваться с носка на пятку, засунув большой палец за ремень. Как если бы на нем была униформа, а не какой-то костюм, который при производстве последнего фильма был тайком вписан в бюджет. Можно раздобыть себе из реквизита музыкальный инструмент треугольник – именно треугольник! Черт знает, как он до этого додумался! – при помощи которого требовать тишины: плинг, плинг, плинг, а потом, когда слух всех присутствующих в павильоне обращен к тебе, зычным голосом огласить смертный приговор.

Можно влезть на стул и – когда будет сказано то, что имел сказать, – вскинуть вперед подбородок. Забияка, который задел прохожего и тотчас стал наскакивать на него: «Ну, ударь же, если посмеешь!» Потому что совершенно точно знает, что тот не посмеет.

В награду фон Нойсер закончил мой фильм и хотя бы раз в жизни смог назвать себя режиссером. «Детка, я рад твоему приходу». Может, он подразумевал под «деткой» Геббельса?

Можно также увернуться от плохой новости, совершенно буквально, изогнуться телом, как будто при замедленной съемке уворачиваешься от назойливой мухи, втянуть голову и потирать руки. Плохие актеры всегда потирают руки, когда хотят изобразить мошенников, но это совершенно не соответствует действительности. Руки потирают, когда мерзнут, когда чувствуют себя нехорошо, когда хотят смыть с себя чувство вины. Ситуация неприятная, вот что значит этот жест, но от меня тут ничего не зависит. Как раз так стоял д-р Розенблюм, когда дедушка надумал спросить у него, сколько ему еще осталось: «Говорите прямо, господин доктор, пожалуйста, у меня больше нет времени на околичности». Д-р Розенблюм всеми силами хотел увильнуть и стал покашливать – не потому, что охрип, а потому, что хотел потянуть с ответом, а потом очень тихим голосом все-таки сказал правду.

Дедушка улыбнулся, как будто плохая новость была хорошей, и сказал: «Большое спасибо, господин доктор».

Может быть и так.

Можно шепнуть о беде на ухо другому. А можно взять мегафон и объявить во всеуслышание: «Внимание, внимание, штормовое предупреждение, извержение вулкана, метеорит!»

С фронта посылали извещения о гибели. Строго по регламенту. В каждом батальонном штабе сидел такой Алеман, которому на стол ложились списки павших, а уж он творил для скорбящих родственников красивое заливное.

Вот только как сказать человеку, что он на всю жизнь останется инвалидом, – об этом в служебной инструкции не было ни слова. Полагались на то, что он и сам это заметит. Когда смотришь на окровавленную простыню, а она ниже твоих колен гладко прилегает к матрацу, и без медицинского образования поймешь, что уже не сможешь играть в футбол. Когда с твоих глаз снимают повязку, а ты ничего не видишь, не требуется специальный человек, который скажет, что с тобой случилось.

Он из всего этого выбрал улыбку, господин капитан медицинской службы. Вернее, улыбался его рот. А глаза уже смотрели на следующую койку.

– Вам повезло, – сказал он. – Могло бы попасть и в живот.

Могло бы. Было бы. Стало бы.

Везение, черт возьми, очень относительное понятие.

Мне, солдату Курту Герсону, повезло. Мне выпал крупный выигрыш: настоящее, несомненное увольнение из армии по ранению. Правда, мое ранение не было четко обозначено в том списке, который мы все знали наизусть – о таких вещах не говорят, как я и сам всю жизнь потом не говорил об этом, – но я отвоевался. В этом не было ни малейших сомнений. Уволен из армии с почестями. С благодарностью от отечества. Настоящий, государственно признанный герой. С головы до ног испятнанный славой. Да здравствует, да здравствует, да здравствует.

Бумаги уже давно были готовы. Все на месте. Вместе с листком железнодорожной компании, который обеспечивал мне бесплатный проезд до дома. В графе «Требуются... костыли» кто-то тщательно вписал зелеными чернилами «нет» в предусмотренный для этого пустой прямоугольник. Костыли ему *не требуются*. Ему повезло.

Все было оформлено и подготовлено. Оставалось только сесть в поезд. А я все никак не садился. Так и торчал в лазарете. Больше месяца. От страха.

От волнения перед выходом на сцену.

Мне дали новую роль прямо в канун моего восемнадцатилетия. Мне выпало играть Курта Герсона. Роль совершенно нормального молодого мужчины, который вернулся с войны. И никто не должен был заметить, что это всего лишь роль. Я и понятия не имел, как и что делать. Как создавать образ нормальности и образ мужчины. Пока я еще не попал домой, я мог репетировать. Пробовать так и сяк. Перед публикой, которой до этого не было дела. Как все начинающие, я нещадно переигрывал.

Я знал, каким не хотел быть. Таким, каким мне уже назначил быть в своих письмах папа, – теперь, когда я уже больше не *драник*, а его *героический сын*. Ведь героем я не был. Просто так вышло. Не повезло. Или повезло. Это как посмотреть.

А еще мне надо было подготовить хороший ответ. На вопрос, который мне наверняка будут задавать в Берлине. Ведь руки-ноги у меня целы. И я не ослеп, не оглох. Меня очень вежливо будут спрашивать, пряча недоверие за озабоченностью:

– Что же у вас за ранение? Так-то по вам не скажешь...

Я не мог ехать домой, пока не знаю, как на это отвечать. Ответом могло быть все что угодно, только не правда.

И еще одно меня удерживало. Извращенный аттракцион, механизм которого стал мне ясен лишь много позже. Все ужасы и мерзости, которые в лазарете приходится видеть каждый день, действовали на меня извращенным образом благотворно. Были единственным, что могло утешить меня в моем положении. Что есть люди, которым еще хуже, чем мне.

Еще будучи пациентом, я уже приноровился приносить пользу. Как только снова смог ходить. Между тем мою койку давно уже занимали другие. Меня вычеркнули из списка как уже отремонтированного. Что можно было вылечить, было вылечено. Остального мне не смогли бы вернуть и сотни операций.

Мне разрешили остаться, потому что не хватало персонала. Лишних вопросов не задавали. Рады были, что кто-то добровольно берет на себя работу, которой брезговали даже самые самоотверженные санитарки из Красного Креста. Однажды какой-то санитар постукал пальцем по моему Железному кресту и сказал:

– Тебе надо бы выдать орден Подкладного Судна.

Возможно, они принимали меня за сумасшедшего. Возможно, я и был им.

Помню матроса – не знаю, как он очутился в пехоте, а не на флоте, – ему отрезали ноги, почти под корень, да и рук он тоже лишился. И теперь лежал, сверху загипсованный, а снизу мало чего осталось, а вдобавок еще и подхватил кишечную инфекцию. В перманентной спешке не до особой гигиены. Из него просто лилось. Всякий раз, когда я подмывал ему зад, мне приходилось менять и обгаженные повязки на его культях, которые находились на ладонь ниже.

Он всякий раз пытался мне что-то сказать. Как бы невероятно ни казалось это в его положении, но, судя по выражению его лица, это было что-то веселое. Я не понимал его ниже-немецкого диалекта. К тому же из-за морфия, который ему вприскивали, он не мог как следует артикулировать. Врачи были абсолютно уверены, что ему не выжить, потому что ни один человек не мог бы выдержать столько, сколько выпало на его долю. Но всякий раз – утром придешь, а он еще жив. И на следующее утро тоже. Наконец я все-таки понял, что он все это время хотел мне сказать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.